

1991 0130-3600

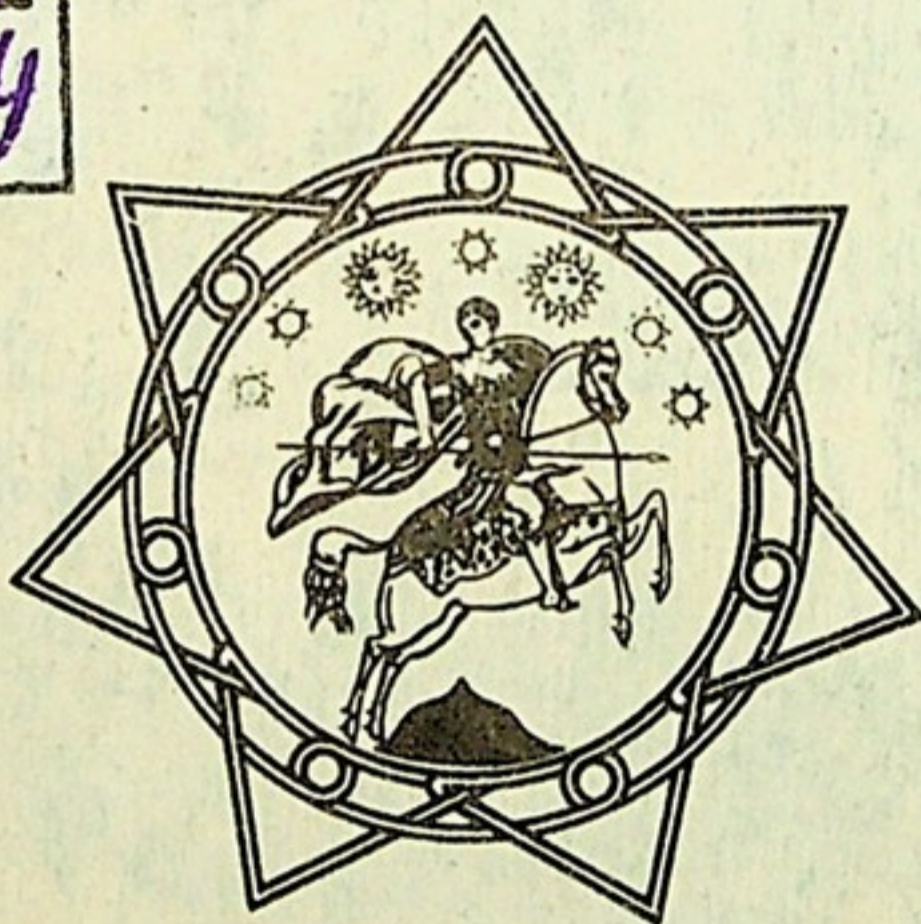
საქართველოს
საბავშვო ლიტერატურის
ცენტრი



1991

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

10.335/
1991/4



6



34135300
8080010133

ЧИТАЙТЕ ПЕРВУЮ В СССР

Independent Newspaper
NEZAVISIMAYA GAZETA
FROM RUSSIA

СОБРАНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ
ВАШЕ МЕСТО

Журналистика без цензуры!

Оперативность информации!

Мнения "без оглядки"!

Объективность и взвешенность!

Sine ira et studio

НЕЗАВИСИМАЯ

ГАЗЕТА

Печатается
в СССР и США

Распространяется
в розницу

Принимается
реклама



Объявлена
подписка

Тел: 924-47-06

925-31-80

925-17-40

Факс: 925-21-61

"ТОЛСТУЮ" ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ!



სამშობლო
საბჭოთაო



1991

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

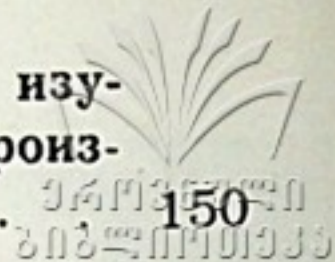
- ВАНО ЧХИКВАДЗЕ.** Птицы зимой. Роман. Продолжение. Перевод В. Федорова-Циклаури 3
- НАИРА ГЕЛАШВИЛИ.** Миниатюры. Из цикла «Осколки зеркала». Переводы Людмилы Кравченко и Гины Челидзе 62
- МЕДЕЯ КАХИДЗЕ.** Стихи. Переводы Татьяны Бек и Генриха Варденги 121
- БАГАТЭР АРАБУЛИ.** Стихи. Переводы Ирины Знаменской, Александра Макарова-Кроткова, Лены Ловер, Александра Орлова . . . 126

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ТЕНГИЗ ЧХАИДЗЕ.** Бессмертная душа . . . 129

6

ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Методы изучения и анализа художественного произведения. Формальный метод



ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

НЕЛЛИ БОСТАШВИЛИ. Почему была закрыта газета «Дрозба»?	161
ДЖОНДО ГВАСАЛИА. Эскизы	190
ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ. Достоверность в современном искусстве	196

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Е. П. БЛАВАТСКОЙ

РОКСАНА АХВЕРДЯН. Блаватская и Грузия 206

ОТ РЕДАКЦИИ 223

— Постой-ка... Может быть, не терпится носом землю вспахать! — побледневший Нико схватил его за шиворот — отскочившая пуговица ударилась о камень и подкатилась к моим ногам.

— Нико! — бросились к нему Арчил и Иванэ.

— Пусть ударит, пусть ударит хоть раз!.. Ну, чего ты ждешь?! — у молодого тряслась челюсть.

— Ты что себе позволяешь? — подскочил к Нико рябой, машинально хватаясь за пояс у бедра.

Нико горько улыбнулся:

— Что, нету, нечего выхватить?.. Когда-то висел, куда же он делся, где ты его потерял?.. Пошнырял ты в свое времечко, поколотил ночами в двери! Признайся, сколько жертв на твоей бычьей шее?

— Знаешь, что я тебе скажу? — побагровел рябой.

— Что ты мне скажешь, Шура-стукач, ты думаешь, я тебя не признал? Натешился в свое время... Больше не пройдет, нет...

С трудом мы оттащили возбужденного Нико, он отошел к церкви и повернулся к нам спиной.

— Во всем вы, товарищ, виноваты! — рябой погрозил пальцем Арчилу, с трудом оторвав злобный взгляд от спины Нико.

— Кто пожаловался, какая вода просочится?

— Сказано, нельзя, и точка! Принеси справку, тогда хоть всю деревню перерой, если есть такое желание!.. Пошли! — повернулся он к молодому, успев еще раз бросить на Нико презрительный взгляд.

— Ваша пуговица.

— Ну ее к... — оттолкнул мою руку.

Ругань рябого явно относилась к Нико, а не к пуговице.

Машина покатила вниз по ухабистой дороге.

Арчил грустно опустил на камень, он как будто еще больше постарел, даже горб вырос за плечами:

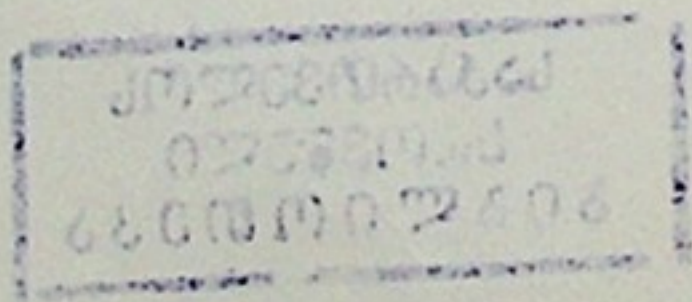
— Засыпай, Иванэ!

Иванэ взялся за лопату.

— Оставь! — остановил его Нико.

— Пусть засыпает, у меня уже не осталось сил бороться с ними... Ты не хуже моего знаешь Шуру, это ж бич Божий... Интересно, кто тот молокосос?

— Какая разница, он сюда больше не сунется.



— Э, Нико, не приведи Господь, чтобы его допустили к должности, он за тобой в могилу залезет. Эта бессмысленная система затюкала нас, но ума не прибавила...

Сначала они нагрянули в воскресенье — ты, мол, нашел клад и обязан сдать его. Я показал им бронзовые кинжал и коня.

— Пока нашел только их, не думаю, чтобы они представляли какую-нибудь ценность для вас, по-своему они, безусловно, бесценны, — сказал я им, недоумевая, как они так быстро пронюхали.

— Мы думали, они золотые.

— Да будет вам известно, что они дороже золота.

Они посмеялись — если дороже, пусть у тебя остаются. Сегодня они снова примчались — деревня жалуются, что ты все перекопал, выступит вода и размочит могилы.

— Какая к черту деревня!.. Какой-то бездельник накопил яда и ищет, кого бы укусить! — плюнул Иванэ.

— И я хорош! Сорок лет старался что-то вложить в их головы, научить отличать черное от белого... Ради чего я из кожи лез — состояние сколотил или чины с медалями на меня сыпались?.. На нет и спросу нет... Кто мог подумать, что на меня наклеузничают, смешают с грязью?! Глупец, я воображал, что они грудью прикроют меня! — Арчил хлопнул себя по лбу.

— Не переживай, мы-то с пути не сбились.

— Сорок лет, Нико, жалко сорок лет, в течение которых, как выяснилось, я толоч воду в ступе. А к этому месту я и близко теперь не подойду... Отныне все, начиная с ближайшего соседа, будут казаться мне фискалами.

Поняв, что он не передумает, мы засыпали ров и пошли обратно.

— Уясните, друзья, одно — они лишили меня веры... Насажали в душу пиявок подозрения! А мне в моем возрасте уже ничего не вернуть... — бормочет дорогой Арчил.

— Послушайте меня, дядя Арчил... На четвертом курсе я вернулся домой с лекций и вижу — мама сидит за столом и плачет над листком бумаги. Сердце екнуло, телеграмма, думаю, с кем-то из близких не-

счастье... Оказалось, что это извещение о реабилитации отца... Хорошо, в конце концов его по-смертно оправдали, но наше сиротство, нужда, унижения? С кого спросить за все это? Кто вернет мне то, что у меня отняли?.. Что мне делать, жить в злобе, хранить горечь детства? Разве нам хочется, чтобы Дато и Георгия обманывали, как нас?

— Не знаю, не знаю! — ковылял старик.

— Дай тебе Бог радости, Нико, славный ты человек, славный! — покачал головой Иванэ и, прищурясь, взглянул на заходящее солнце.

«Кто, кто смердит в нашей деревне, ведь придет время, он сам угодит в собственный капкан!»

По склону медленной снежной лавиной спускаются овцы, и с виду повсюду такой покой, словно жизнь почует в сплошной благодати...

Иванэ не позволил нам пройти мимо своего дома.

— Пожалуйста! — несколько удивленно встретила нас его жена. Отставила чесалку, сдвинула в угол разложенную на тахте шерсть и, отряхивая подол, вышла из комнаты.

Иванэ отправился за ней.

Стены у них беленые. Свет из узкого оконца едва добирается до середины комнаты. Глинобитный пол местами влажен, его, видимо, недавно sprysнули и подмели.

В окно я заметил, как Иванэ положил петуха головой на пенек... Несчастное тело того подпрыгнуло, заметалось, затрепыхало и замерло...

Мы сидели за столом, когда пришел Георгий, он с сестрами и братьями собирал шиповник в лесу.

— Не обессудьте за скудость, чем богаты... — Иванэ по очереди наполнил всем рюмки, — угощайтесь, угощайтесь... Я, надо вам признаться, человек никудышный, в моей семье редко привечают гостей. Мы с моей половиной замкнулись и одичали. Почему, спросите вы, обожглись на чем-то или скупердяйничаете? — Ни то, ни другое... Ваше здоровье!.. Пейте!.. И жена попалась под стать мне. Была бы хоть она веселого нрава, а то я засмеюсь — смеется, спрошу — ответит, нет, сидим, как истуканы. Ума не приложу, может, нас сглазили! — Иванэ пожал плечами.



Главного он не сказал, главным он поделился на чердаке, один раз вырвалась годами копившаяся злоба и снова затаилась, замуровала выход, завалила землей сердечную тайну, словно какой-то клад...

Совсем стемнело, когда подвыпившие Арчил и Нико поставили меня посередине — ты у нас самый трезвый, веди нас домой.

Деревня обычно засыпает рано, и сегодня она не изменила своему обыкновению, только кое-где мерцал свет...

Арчил повел нас в свой подвал:

— Вот, они решили — золото, золото... Откуда им знать, что ты дороже самого червонного золота. — Он снял с полки бронзового коня и обтер его полкой рубашки. — Если бы все знали ему цену. Приглядишься, Нико, приглядишься зорче: кто был этот безымянный мастер — честь и слава его родителям — как он изготовил его. Он скачет, я слышу цокот его копыт, он изваян в движении... Я ничего подобного не находил... Может быть, благодаря ему моя жизнь чего-то стоит. Прислушайся, сейчас он ржет, как будто убили его седока... Улыбаетесь, да? Эхе-хе, я окончательно выжил из ума, — разобидевшись на нас, он поставил коня обратно на полку.

— Что вы, что вы?!

— А вы в душе не потешаетесь надо мной?

Нико обнял его, и прослезившийся старик затих, как ребенок.

«И правда, хорошая штука... Когда он его нашел, даже в городе узнали. А я вот ничего не слышу», — я погладил коня рукой и ощутил, как дышат от бега его бока...

У Тины гостила бабушка, они чаевничали и разговаривали. Мы подкрались к окну, немного приоткрыли его:

— Не мне тебя учить, ты сама врач: шевелится — и для тебя хорошо, и для ребенка, возьми мужа под ручку, прогуляйтесь, над делами не особенно надрывайся.

— Какие у меня дела, тетушка Бабалэ, Нико все делает...

— Когда срок?

— По моим подсчетам, не позже середины января.

— Не бойся... Теперешним что, « грох роллда, кто за мной присматривал?.. Пропади пропадом, кто выдумал войну... Кабы не этот ребенок, грош цена моей жизни.

Прежде, чем она сказала что-то еще, Нико оттер меня от окна, и мы поднялись в дом.

— Примете нас?

— Ты выпил, Нико? — засмеялась Тина.

— Если ты против, больше не буду... Что, брат, скажешь, чай нам кстати?

— Кстати! — подтвердил я.

Женщины уступили нам стулья и пересели на тахту.

— Жизнь, милый Давид, штука сложная, и тебе пора это понимать! — он звонко мешал ложечкой в стакане.

Все трое воззрились на меня. Их взгляды загнали меня в невидимый угол, я ежился, будто стоял у бушующей реки, а меня подталкивали в воду, стремительно несущую камни и гальку, и нет пути назад — я обязан перебраться на ту сторону, достичь невидимого отсюда берега, донести до него свое избитое тело только затем, чтобы потом напомнить кому-то, что жизнь — сложная штука, и в свой черед толкнуть его в бурную реку.

* * *

Нико проводил нас до дому.

Все уже спали, одни звезды бодрствовали и перемигивались. И моя звезда была где-то среди них, но я не знал ее. А звездочка Тамрико, самая светлая и яркая, глядела с высоты прямо на меня. Я протягивал к ней руки, пальцы мои согревались, я подносил их к лицу и ощущал запах скошенной травы, волос Тамрико и разделенного пополам персика.

Сначала я влюбился в Тамрико во сне, да так сильно, что... заплакал. Проснулся — надо же, опять любит, прямо с ума сходит. Я-то знаю, что наша любовь невозможна, и ее родичи спятят, и мои меня доконают, но сердце не хочет ничего понимать. Его не интересует история наших семейств. На уроке взгляну на нее исподтишка, она заалеет, вот и все, что было за

целых два года. В прошлом году перед самым Новым годом мы вместе пришли в школу. Не знаю, что привело нас в такую рань, даже техничка еще не появилась. По дороге мы перекидывались снежками и промерзли до печенок — и теперь отогревали руки то под мышками, то дыша на них.

— Три сильнее, вот так, и пройдет.

— Не могу! — у Тамрико потекли слезы.

— Засунь в волосы, волосы теплые.

— Да-а?

— Да, вот так, и шевели.

— Все равно щиплет, — она отвернулась к окну и заплакала, — пальцы не сгибаются.

— Покажи, — слезы Тамрико заставили меня забыть о себе, — ого, могут так и остаться, — я принялся растирать ее руки, — один человек уснул с выпрямленным пальцем, проснулся, а он не сгибается.

— Правда или выдумываешь? — наивно спросила она.

— Ну вот, стану я врать!

— А кто сочинил, что у знахарки Като есть хвост — когда меня заговаривали, хвост высунулся из-под юбки, наша кошка приняла его за мышь и чуть не оторвала — кто?

— А-а, не веришь, значит?

— Нет.

— Чем поклясться?.. Отошли?

— Да.

Глаза у нее блестели, слезинка — вот-вот сорвется — дрожала на ресницах.

Я, как зачарованный, не сводил с нее глаз. Ее улыбка медленно растаяла, пристальный взгляд был так нежен, так трепетно дрожали пальцы в моих ладонях, что мне показалось, будто класс перевернулся вверх тормашками, а мы висим в воздухе и, едва разнимем руки, как упадем на пол, словно мертвые воробьи.

Еще миг, и наши сердца, наверное, разорвались бы, но хлопнула дверь, загремели сваленные дрова. Это пришла техничка, она подозрительно оглядела нас:

— Вы что, ночевали тут? — и чиркнула спичкой.

Мы, бессмысленно суетсяь, забормотали что-то.

Холода как не бывало, меня бросило в такой жар, что я чуть не сорвал с себя одежду. Распахнул окно, выпрыгнул — к черту уроки! — бегом влетел в амбар и всласть наревелся.

Ночью у меня поднялась температура. К утру, как по заказу, спала. У мамы заложило горло, в школу она не ходила. Уговаривала меня остаться дома, но мог ли я послушаться ее — мне не терпелось увидеть Тамрико. Слома голову неся я в школу, но у входа мужество оставило меня, ноги плелись где-то сзади; стыдясь неизвестно чего, я насилу решился войти в класс. Учительница, только что начавшая проверять по списку, вцепилась мне в ухо:

— Ты почему выскочил из окна?

Ясно, техничка наябедничала.

— Больно было? — шепотом спросила Тамрико.

— Нет, обидно.

— Потому, что я видела, да?

— Вчера он греет руки этой особе, сегодня мешает вести урок... Пересядь на заднюю парту!

«Все доложила. Хоть бы нога подвернулась, когда несло в школу».

— Это я разговаривала.

— Садись! Тоже мне героиня... Нечего его выгораживать.

Ребята смеялись. Я схватил сумку и захлопнул за собой дверь.

— Наглец! — услышал я уже в коридоре.

— Выставили?.. Поделом тебе! — подбоченясь, техничка злорадно уставилась на меня.

— Ух, твою... — у меня вырвалась такая дикая матерщина, что у самого уши завяли.

Техничка полетела в учительскую. Я сбежал по ступенькам, а за воротами меня догнала Тамрико.

— И тебя выставили? — спросил я.

— Нет, я сама ушла.

Ступая по снегу, мы обогнули коровники и двинулись по снежной целине. Коровники напомнили мне о винограднике деда, захотелось еще раз отвести душу, но я вовремя спохватился — виновата ли Тамрико, что родилась внучкой Артемы?

— Устала?

— Нет.

— Давай портфель и засунь руку в карман.

Дальше у меня как язык отнялся, не мог выдать ни слова. Мы шли, опустив головы, словно знали, куда идем. Вокруг было мгристо и смутно, как в моей голове.

«Неужели это называется любовью?» «Любовь», — прозвенело слово — дзинь, дзинь, дзинь... Снова закружились небо и земля, в смятенной душе распустился цветок, окутанный листьями печали, листьями прекрасной, отрадной печали.

Ни разу не оглянувшись, мы миновали деревню, словно никого и ничего не оставляли за собой, словно сошли с неба вместе со снегопадом и, когда насладимся здешними местами, нас заберут обратно, наверх, где никто не встанет между нами. Я понимал, что деревня, как цепная собака, скоро залетит лаем, вцепится в нас, налетит лавиной, огненным колесом проедет между нами, чтобы разомкнуть наши сплетенные пальцы... Я заранее ощущал боль в запястьях, но сейчас мне было легче расстаться с жизнью, нежели... Чем дальше мы уходили от деревни, тем меньше и меньше становилась она, подвешенная к небу на серых веревках дыма, сжималась в кулачок, окликала, угрожала, умоляла нас оглянуться хотя бы раз, но туда, где забыли, что такое любовь, мы уже не могли вернуться такими, какими нас хотели видеть.

Мельник Цкалоба рушил дубинкой лед, осколки с грохотом катились по желобу.

— Откуда вы взялись? — удивленно посмотрел он на нас и указал на портфель, — кукурузу принесли смолоть?

Мы дружно рассмеялись.

— Зайдите, погрейтесь, замерзли совсем.

Один угол мельницы был отгорожен, там у Цкалобы стояла раскладушка и кособокий камин.

Положив портфель и сумку, мы присели на раскладушку.

— Вода, будь она проклята, убыла, еле крутит жернов, с утра едва-едва один мешок смолот, — ворча, мельник поворошил огонь. — Ну, где были, секрет?

— Занятия отменили.

— А вы, значит, заблудились... Разувайтесь, согрейте ноги, заболете, — он взял сложенный мантион и вышел.

Мы сбросили обувь и, как зайцы, положили на трехногую табуретку ноги в одинаковых белых носках. Наши руки опять нашли друг друга.

— Вчера температура подскочила... Думал, горю.

— И у меня, только я никому не сказала, а то не пустили бы.

— Во сне ты клала мне на лоб холодную руку.

— Ты рассказываешь мне сон... — вчерашняя слезинка повисла у нее на ресницах, — когда ты выскочил в окно и убежал, я плакала. Ты...

— А я смеялся, смеялся... Не слышала мой хохот?

— Мужчины вообще не плачут...

— Кто сказал, что не плачут? — появился мельник. — Даже скотина плачет, а мужчины чем отличаются от женщин? Согрелись? Гляньте-ка в зеркало, как разрумянились.

Зеркальце было карманное, но мы оба «уместились» в нем. «Интересно, зеркала запоминают лица, или им все равно, кто в них смотрит?».

Мельник кашлянул, видимо, наше разглядывание затянулось.

— У вас, значит, отменили занятия... Что с вами будет, если ее совсем закроют? — по его улыбке я понял, что он не случайно протянул нам зеркальце — мельник сразу уловил, что мы не в силах были скрыть.

— Мы пойдем, — взялся я за ботинки.

— Приходите еще, только не пропускайте школу...

В церкви пахло сыростью.

По-прежнему Святой Георгий сражался с драконом. Стена шаталась, готовая упасть, но какая-то сила удерживала ее, чтобы она не рухнула и не погребла под собой всадника вместе с конем.

— Боже, даруй ему победу! — просила обычно бабушка, когда мы поднимались сюда.

— Боже, даруй ему победу! — попросил и я.

— Пусть он победит, пусть! — зашептала и Там-рико. — Поклянись, Дато, поклянемся здесь!

— Клянусь отцом!



— Отцом?

— Да, отцом!

— Я... Я клянусь тобой!

У дверей ежились от холода сумка с портфелем.

— Клятву нарушать нельзя... Клятвопреступник сразу превратится в камень.

Я, как стоял, так и застыл у стены, даже не моргаю.

— Пойдем... Пойдем, что с тобой?

— Я превратился в камень... Пока ты не коснешься меня скипетром королевы нечистых сил, я буду стоять здесь, сколько бы лет не прошло, — здесь...

— ...есть, — повторили своды.

— Камень, камень, где мне найти королеву нечистых сил?

— Пройдешь тридевять гор и увидишь деревню. Ни с кем в ней не разговаривай, молча пройди до конца ее, не то я в тот же миг рассыплюсь... Там, на школьном дворе встретится тебе ведьма с метлой, она похожа на человека, но ты не верь, она протянет тебе руку, но ты не пожимай... Ведьма загадает тебе загадку — когда гусь стоит на одной ноге? Если отгадаешь, она проводит тебя в учительскую и покажет королеву нечистой силы...

— Камень, а если я не знаю, когда гусь стоит на одной ноге?

— Ты в самом деле не знаешь? — «превращаюсь» я в человека.

— Нет.

— Подумай.

Я взял сумки, и мы вышли из церкви.

— Ладно тебе, скажи.

— Пошевели мозгами и отгадаешь.

— Ну, пошевелила... Все равно не отгадывается.

— Все очень просто, когда он другую ногу... — я поскакал на одной ноге, — что сделает?

Я споткнулся о камень под снегом и вместе с портфелем и сумкой носом полетел в сугроб.

— Когда он другую подожмет! — Тамрико закидала меня снегом.

— В точку попала! — я вытер лицо.

— Гусь тогда стоит на одной ноге, когда ~~подожмет~~ другую!

— Отлично! — я на снегу вывел ей ~~пятерку~~.

— Но гусь не должен становиться на одну ногу, а то упадет! — она наставляет на меня палец.

— Значит, я гусь?

— Я пошутила... Ты вправду обиделся? — она опустилась на колени и пригладила мою растрепанную челку.

Наши головы настолько сблизились, что мы слышали дыхание друг друга.

— Встань, простудишься, — чуть шевелятся ее губы, и глаза наполняются слезами.

— Почему ты плачешь?

— Не знаю... Так... Хорошо...

— Хочешь, будь моим олененком.

— Олененком?

— Угу.

— Почему — олененком?

— Потому что у тебя глаза, как у олененка.

— Ты видел?

— Конечно, видел.

— Когда?

— Сейчас вижу... «Я маленький сирота, судьба не пощадила меня — в недобрый час я осиротел...»¹.

— Дато, кто-то идет! — настораживается Тамрико. Какие-то чужие. Прошли мимо, даже не заметив нас. Шагают к лесу, покачиваются торчащие из-под мышек длинные топорыща.

В проулке наши пути разошлись. На прощание Тамрико засунула мне за шиворот снег и побежала. Она бежала оборачиваясь, улыбалась мне, махала портфелем и бежала дальше. Следом за ней зигзагами гнались маленькие следы ее ног. Я стоял столбом, не в состоянии пошевелиться даже тогда, когда она скрылась; и дикая мысль, не окаменел ли я на самом деле, промелькнула в голове.

* * *

— Мама, мама! — влетев в дом, я обхватил ее за плечи.

¹ Цитата из рассказа Важа Пшавела «Рассказ косуленка».

Шаль слетела на пол.



— Пусти, задушишь из-за своей пятерки... Отойди, не заразишься ангиной... На кого ты похож, мокрый с головы до ног... Снимай, снимай...

Она мигом «ошкурила» меня.

— Надень! — кинула мне халат. — По какому предмету?

— Что?

— Пятерка.

— Какая пятерка?

— А что еще по глазам заметишь? — держа наготове красный карандаш, она уткнулась в тетрадку.

— Знаешь, мама?.. — почесал я голову.

— погоди, сейчас проверю и покормлю тебя... Достань хлеб и поставь кастрюлю на плиту... Неплохо бы и руки тебе помыть... Боже, какие они смешные — «лягушка поругалась с мышкой, поднялись на пригорок и начали лягаться», — прочла она вслух. — Что смеешься, у тебя бывало похуже — «мак со своей краснухой»... Помешай в кастрюле, подгорит...

— Твои воробушки, наверное, соскучились.

Воробушками мама называет своих первоклашек.

— Сегодня уже не так болит, — она трогает завязанное горло.

«Завтра придет в школу, ей там распишут. Лучше самому сказать...»

— Вот и все, — она сложила тетради.

Я уписываю суп.

— Вкусно?

Кивнул.

«Она, наверное, тоже обедает... Нет, сначала переоделась, не снимая белых носков, сунула ноги в мягкие шлепанцы, сняла фартук, взялась за пуговицу воротника».

«Отвернись».

«Зажмурился, не смотрю».

«Сосчитай до тридцати, потом открывай...»

«Один, два, три... Пятнадцать... Девятнадцать... Двадцать девять... Тридцать... Открываю...»

Ко лбу прикасается мамина рука:

— Спать хочешь?.. Температуры, кажется, нет. Доедай и поставь термометр.

С термометром под мышкой усадила меня у печки. Прибрала со стола, смела в горсть крошки, высыпала за окно на подоконник — прилетят птички, заклюют.

— Мам, вынимаю.

— Подержи еще, он не кусается! — мама открыла книгу на заложенном месте.

Она вечно читает так, даже сидя за столом, кладет книгу на колени и склоняется к ней вопросительным знаком.

— Что читаешь?

— Это не для тебя.

— Про любовь?

— Про глупого мальчишку, который не соображает, что говорит.

— Я не соображаю? — вскинулся я. — Не соображаю, да?

— Соображаешь, соображаешь, не разбей термометр. Сколько?

— Тридцать шесть и четыре.

— Покажи-ка, — не поверила она.

— На, не обманываю же!

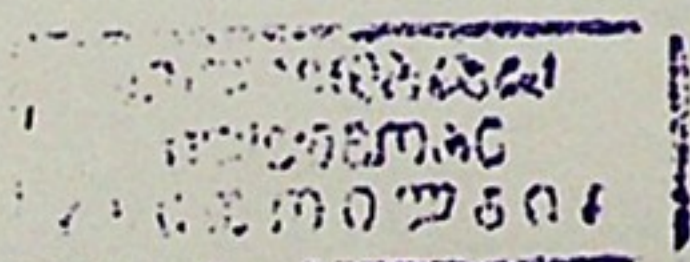
— Почему же у тебя так блестят глаза? — пожав плечами, мама сунула термометр в футляр.

«Судилище» состоялось на следующий день сразу, как я вернулся из школы. Что дела мои плохи, я понял сразу, когда на большой перемене мама вышла из учительской и на ходу ущипнула меня за локоть — дома, дескать, поговорим с тобой. Сколько я ни валандался по дороге, пришел срок отворять дверь. Увидев у нас знахарку Като, я немного приободрился — может, при ней постесняются, но бабушка так взглянула, что я понял, сам Господь Бог не спасет меня.

— Есть хочу! — заявил я прямо с порога и сел за стол...

— Знаешь, где еда! — бабушка взглянула на меня поверх очков и продолжала вязать.

Мама хмуро уткнулась в тетради, но я почувствовал, что все ее внимание приковано ко мне. Одна Като улыбается и вяжет себе.



— Закрой кастрюлю... Успеешь наесться... Сядь сюда! — мама бросила карандаш. — Во-первых ты выпрыгнул из окна, убежал из школы, во-вторых — ушел с урока Ангелины, в-третьих — грязно обругал техничку, оскорбил женщину — ровесницу твоей бабушки. Что мне теперь скажут, как ты думаешь, — своего не сумела воспитать, где ей учить других?

Мама говорила со мной, словно чужая, это особенно задело меня.

— Тц, тц, тц, — покачала головой Като, — разве можно ругаться, сынок... Может быть, он вовсе не обзывал ее, мы никогда не слышали от него ругани, какая муха его вчера укусила?

— Нет, я ее обозвал!

— Почему?

— Заслужила.

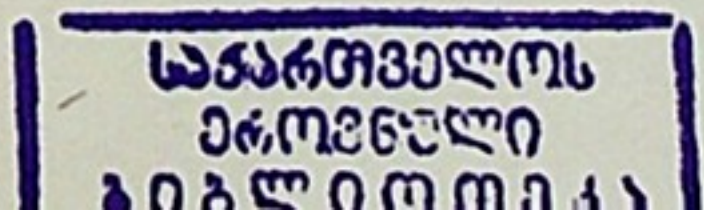
— Как об стенку горох, — мама беспомощно развела руками, — я полагала, что воспитала человека...

О Тамрико никто не упоминал, и у меня отлегло от сердца, меня пусть костерят, лишь бы ее не трогали, но... Бабушка отложила вязание, грозно пригляделась ко мне и... словно нож вонзила в сердце:

— Что у тебя за дела с внучкой мерзавца Артемы? Они по горло в нашей крови, а ты плюешь на нас? Давай, облей нас керосином и сожги в этом проклятом доме! — у нее было такое гневно-брезгливое выражение, словно ей в подол бросили змею...

Я согнулся, как от удара в живот, не слыша больше ни бабушкиных «благословений», ни всего остального. Бог знает, как я унес ноги. Горло саднило, видимо, я тоже кричал, вернее, не видимо, а точно орал, чтобы оставили меня в покое. На чердаке я плашмя упал на сено. Что-то укололо в живот, это оказалась колючка лоха, понавшая сюда с травой. Я воткнул ее в трещину балки и надавил сверху... От боли закусил губу, но колючка, как шило, должна войти в ладонь до конца...

Посмотрел на веранду. Белая полоса снега лежала на перилах, сверкая, как лезвие ножа; он разделял наши семьи, острый и нетупеющий; попытайся мы избавиться от него, на нас обрушится гнев домашних.



На веранду вышла Тамрико. Я махнул ей — выйди.

— Нет, — знаком ответила она, — не могу.

Я разозлился, выбросил ноги наружу и прыгнул. В воздухе меня настиг вскрик. Я мягко шлепнулся на заснеженную кучу навоза у стены и разозлился еще больше, — мне хотелось разбиться в лепешку, расквасить себе лицо. В ярости я молотил по снегу кулаком.

— Ты с ума сошел! — это была Тамрико.

— Сошел! — кивнул я. — Когда звал, ты почему не...

— Не могла, наши дома.

— Что тогда прибежала?

— Я подумала, вдруг ты ушибся.

— Пожалела?

— Нет... Я люблю тебя! — чуть слышно произнесла она.

Я так и осел, злость схлынула и исчезла.

Какие непостижимые слова! Кости мои размякли, словно пластилиновые. У нее были такие глаза, будто я смотрел в осенние, подернутые дымкой, беспокойные синие-зеленые озера, которые зыбит и чуть колышет легкий ветерок.

— Твои узнали?

— Да, — спрятала она заплаканное лицо.

У входа в загон стояла мама... Бледное лицо ее было полно неведомой печали, она нервно потирала лоб, как будто силилась вспомнить что-то и не могла... Мама медлила. Мы застыли друг против друга, предпочитая этому непонятному пугающему молчанию, чтобы она сказала нечто убийственное, ударила нас или, не знаю, что бы еще сделала, только бы... На сей раз «ружье не выстрелило».

— Боже мой, какие вы глупые! — донеслось до нас будто из подземелья.

Тамрико, опустив голову, побежала к воротам.

Скоро начались каникулы. Тамрико увезли в город, к дяде. А у нас задурила погода — все время воет ветер, гоняя снег с места на место. Мороз разукрашивал окна всевозможными узорами, но поутру растапливали печь и они стаивали.

Ночами мне казалось, что ветер сорвет крышу, спих-



нет с места дом, потащит его под гору и разобьет вдребезги... Я колол дрова, подметал коридор, дважды прилаживал на место сдвинутую черепицу... Считал неумолимо тягучие дни, бродил, будто в клетке, и думал, думал, думал... Измотался, ночи напролет лежал с открытыми глазами, днем клевал носом. Еда потеряла вкус, дом — уют, а когда вместо сахара я насыпал в стакан три ложки соли и не заметил, пока не отхлебнул, сердитая на меня бабушка пришла в ужас:

— Он у нас либо рехнулся и его надо везти к врачу, либо его опоили...

— Он у нас глупый, тут ничем не поможешь! — мама выплеснула соленый чай и налила новый.

Бабушка у нас не любит откладывать дела. Прокляв в очередной раз весь артемовский род, она притащила знахарку Като. Та нашептала, дала мне выпить воды с углем (которая, видимо, одинаково полезна от испуга и от сглаза), надымила в коридоре серой, трижды провела серпом над моей головой.

— Отвели ворожбу? — засмеялась мама.

— Вы, теперешние, ни во что не верите! — заворчала бабушка.

— Не верят, вот мир и выродился, — подхватила Като, — ни женщина не похожа на женщину, ни мужчина — на мужчину... Он все видит и запоминает! — она ткнула пальцем вверх.

Я невольно посмотрел на потолок.

— Помните, что устроила с Цкалобой дурочка Машо... Машо уже нет, так муж ее жив, поинтересуйтесь у него!

— Вот, вот, не пожалела его...

— У нее в голове было не все в порядке, Бабалэ, чего от нее ждать!

Нам известна эта история, но Като все равно рассказывает:

— Заладила — Цкалоба влюбился в ведьму, оттого и пропадает на мельнице... Где она достала собачий жир, кто ее надоумил — намазала ему воротник, и здоровый мужик залаял...

— Привязали его, рвался детей искусать, — уточнила бабушка.

— Так оно и было... Врачи не помогли; нашли они

знахаря, тот сказал, что посоветуется с их ангелом-хранителем, а через два дня придет, пусть приготовят его карточку и семь волосков с затылка. Приготовили. Взглянул на карточку и говорит:

— Собачьим жиром заморозили, на ворот намазали...

— Кто намазал? — допытываемся мы.

— Мужу не говорите, но не иначе, как жена, — и сжег волосы. Только сгорели — заговорил Цкалоба по-человечески...

— Эти не верят, нет! — бабушка хитро кивает на нас.

Обе замолчали. Мама, улыбаясь, гладит белье.

— Гав, гав, гав! — неожиданно гавкаю я, и обе старушки подскакивают.

Прыснув, мама выходит из комнаты.

— Воспрял?! — обе посмотрели на меня довольно подозрительно.

Я отлично помню дурочку Машо. С утра до ночи просиживала она перед саманником рядом с домом. То расчесывала распущенные волосы, то крошила хвост, складывала его кучкой, дула на нее, бормоча — мокрые, не разгораются.

Мы обыкновенно играли неподалеку, она звала нас:

— Помогите, деточки, принесите, а то не управлюсь с едой, Цкалоба вернется с мельницы, разругает меня.

А нам большего и не надо — обежим плетень, наберем сухих прутьев, со смехом свалим перед нею.

— Радости вам, радости! — Машо пробует «вариво» и причмокивает, — уф, уф, соли в самый раз.

А иной раз сидит весь день злобная, глаза сверкают, как у разбойницы, кривит губы, скрипит зубами и размахивает вылезшими из рукавов черного платья худыми, жилистыми руками, словно собираясь взлететь. И взлетела — однажды ночью слышался ужасный хохот или причитания, наш околоток озарило светом — саманник полыхал. Сбежалась вся деревня, но никто не решался подойти ближе, в мгновение ока пламя охватило саман и тонкие, как фанера, доски. Цкалоба,



выскочивший в одном белье, взывал к людям, умолял помочь, но что сделаешь одним-двумя ведрами воды с лохматым, разгулявшимся огнем — тот вдруг опал, будто проткнутый багровый пузырь, и, когда его окончательно залили, остались черные, обугленные столбы, точно воздетые руки Машо, да пепел, который рассеивал над деревней холодный, осенний ветер. Как тот пепел, разнесся слух. Пошли разговоры, якобы Цкалоба запер жену в саманнике и поджег. Никому не замажешь рот, однако когда собственные дети засомневались — чем черт не шутит, может быть, люди правы — Цкалоба чуть с ума не сошел. Похудел, одна тень осталась от дюжего мельника. Забрал постель и перебрался на мельницу. Битый год обретался там, насилу дети помирились с ним — прости нас, злые языки сбили с панталыку, если умрешь тут без присмотра, нам от стыда хоть сквозь землю проваливайся!

— Она всегда была сумасшедшей? — спросил я.

Какое там!.. Второй такой пригожей у нас не было, ее так и звали — «красавица Машо».

— Цкалоба тоже был хоть куда, — вставила Катю, — как придет на именины при полном параде, на него наглядеться не могли.

Хоть убейте: не могу вообразить ни красавицу Машо, ни удальца Цкалобу. Неужели и мы так преобразимся?

За окном снова сыплет снег, разгуливает ветер. До начала учебы еще несколько долгих дней и ночей.

Мама поставила стул и перебирает лежащие на шкафу книги. Наконец выбрала одну, села рядом со мной, отрешенно вытянувшись на кровати, перелистала ее и, раскрыв, положила передо мной. Я апатично взглянул на книгу:

— «Ромео и Джульетта»... О чем это?

— Тебе понравится... Если что-то не поймешь, спросишь...

Было очень поздно, когда я закрыл книгу. Мои спали. В дверь толкался ветер, будто незримые тени ломались в дом. Голова гудела, как пчелиный улей. В смятении я присел на постели, не в силах видеть книгу, поднял ее со стула, бросил под кровать и натянул на

голову одеяло... Сверкали мечи, лилась кровь, дрожала поднесенная к губам чаша с ядом...

«Скорей, Лоренцо, скорей!» — умолял я монаха, который бежал, путаясь в черной рясе.

«Пробуждается, пробуждается!» — гремели своды, поднимались могильные плиты и вперевалку надвигались на меня.

«Спеши, спеши!..»

— Накинь что-нибудь! — холод и голос мамы отрезвили меня, стоящего у полуотворенной двери.

— А?

— Набрось пальто!.. Сходить с тобой?

Не говоря ни слова, я закрыл дверь и, стуча зубами, залез в постель.

«Значит, все было сном... Как хорошо, что сном...»

Мама встала, подоткнула мне одеяло и погасила свет. Я испугался темноты.

— Мам, ляг со мной!

— Ты и маленький был такой, пока не лягут с тобой, не уснешь... Ноги-то как у тебя замерзли.

— И папа ложился со мной?

— Он чаще.

— Он меня очень любил?

— Очень.

— Я почти не помню, какой он... А ты?

— Он высокий, сильный, когда в настроении — весь от зачесанных набок волос до пяток лучится улыбкой, но стоит ему захандрить, хоть на голове стой, будет хмуриться... Короче говоря, взгляни на себя в зеркало и представишь его...

— Ты очень соскучилась?

Мама не ответила.

— Все прочел?

— Да. Неужели это случилось в самом деле?

— Не знаю... А как тебе кажется?

— Могло случиться, такое не выдумаешь.

— Напомнило кое-что, ах ты, хитрец несчастный!

— Напомнило, но... И мы должны погибнуть?

— Какой ты глупый!.. Такие произведения пишутся, чтобы другие не совершали подобных ошибок.

— Если бы отец был дома, что бы он сказал, не стал бы ругать меня?

— Нет, твой отец очень добрый и справедливый... Ну, успокоился, теперь спи...

Ветер стих. Я слышу, как посапывает бабушка да где-то далеко кукарекает петух...

И мы лежали в этой кровати и на этой подушке в синий горошек. Глаза наши были закрыты, но я чувствовал, что мама не спит. Немного погодя она осторожно встала. В горлышке графина забулькала вода. Она немного отпила, поставила стакан и, прижав к груди руки, уставилась на белесое от снега окно. Может быть, и отец стоял так же где-то далеко-далеко, у заиндевелого окна.

Тоска схватила меня за горло, я повернулся и молча заплакал.

III

— Цып, цып, цып! — придерживая подол, она сыплет зерно окружившим ее курам.

Бабушка подмела двор, дымит тлеющий мусор.

Там собака скулит, тут свинья хрюкает — ничего не поделаешь, все есть хотят.

Я погнал скотину на пастбище.

Расталкивают друг друга, шарахаются, старые «враги» сшибаются лбами, покуда не вмешается прут пастуха, вздымая пыль, разбегаются, а через некоторое время опять сцепляются рогами. Телки отскакивают, уступая место драчунам.

Опять свистит ясеневый прут и оставляет на шерсти белесый след. Что они делают, не ту ли яловую телку, которая так изящно, будто улыбаясь, несет голову с белым пятном во лбу, подрагивает выменем, еще не знакомым с губами теленка...

Однажды на выгон привели черного, ярого бугая и привязали к телеграфному столбу. Донимаемый зноем и оводами, бык пришел в бешенство. Норовя разорвать цепь, раскачивал столб, казалось, что он выворотит его из земли или переломит. Чуть не посшибал себе рога, но все было напрасно, унялся, белая слюна свисала изо рта.

Подвели нетель и привязали рядом с ним. Хозяин отвязал быка, распустил цепь и остановился неподалеку. Бугай повернулся к телке, обошел, потерял об нее головой, будто обнюхивая. Хозяин следил за ним. Бугай напрягся, вскинулся было на телку, но та отпрянула и свалилась... Бык притих, потом потерял об нее и еще раз попытал счастья... Испуганная, пришибленная телка снова шарахнулась от него... Бугай озверел, ударил ее рогами в бок, раз, другой, телка кинулась от него, оборвала веревку и понеслась прочь... Бык поволок хозяина... Тот еле успел высвободить руку из намотанной на нее цепи, а то бы его размозжило о камни. Бугай мчался за телкой. Они снесли плетень и вломились в кукурузу. Там он настиг ее, рывком вскинул грудь, всей тяжестью обрушился на телку, передние ноги ее подогнулись, и она уткнулась мордой в недавно политую землю... Через пролом в плетне бык вернулся обратно и покорно остановился перед хозяином, у которого были ободраны оба локтя...

Среди полегшей кукурузы колготилась древняя старуха Пело:

— Это — порядок, не нашли, проклятущие, другого места?! Все переломали, ни дна вам, ни крыши!..

Васо, по прозвищу Червяк, расплатился с хозяином быка и увел стоявшую в стороне, как будто сконфуженную телку.

Потеха была хоть куда, все наперебой подначивали бугая — давай, давай! — а когда дело пришло к концу, утихли, поскучнели, понурились — зрелище завершилось...

Стадо скрылось, остались только следы копыт, ржавые, сбитые подковы, да теплые, раздавленные коровьи лепешки...

В городке видал девицу —
Тренькала на мандолине,
Ногу на ногу закинув...

— Все бы вам с отцом песни орать, дел больше нет! — сварливо ругается женщина.

— Почему бы нет?.. Ну-ка, сынок, полей мне.

Жоржик наклоняет над тазом опухшее лицо, мальчик выносит из дому кувшин, не сводя глаз с матери, — у той в руке палка.



— Охо-хо, уху-ху, — фыркает от удовольствия отец, — теперь на шею... Потише, не очень-то... Ага, вот так... Уху-ху!.. Что хорошо — хорошо!.. — выпрямляется Жоржик.

Мальчик поставил кувшин, бегом принес полотенце и гордо воззрился на одноногого орла, раскинувшего крылья по всей отцовской груди.

— Память от Федя, — пояснял, бывало, Жоржик, — кремень был, дорогуша мой, все, что хочешь, нарисует. И одной левой, секешь?.. Правую на фронте потерял, по самое плечо оторвало... Он по поездам промышлял, пройдет разок — вагоны «обчищены». Кореш его заложил, глазом не успел моргнуть, как накрыли на ростовском вокзале...

Мы сидели вместе, как братья были.

Как-то он мне сказал: хреновые сны вижу, видать, говорит, не выйти мне отсюда, хочу, говорит, тебе память по себе оставить... Что он мог подарить в тюрьге, а? Именно отписать или презентовать московский поезд?

Две недели колол мне этого орла. Одна нога оставалась, да я не выдержал, отравился, видать, плохо мне стало, сознание потерял, на несколько дней как из жизни вывалился. Очнулся — где Федя? — Говорят, бревно сорвалось, и его в лепешку по стене размазало...

Было у меня припасено немного; как выпустили, поехал к Фединой семье, но... Охо-хо, брат... Баба! Бабы весь мир погубили—вышла, оказывается, замуж, и за кого, спросите? — За того, кто Федю, как козла, продал...

Зло меня взяло, запер я дверь, вломил обоим как следует...

Слушают наши — одни верят его байкам, другие обронят насмешливо — ишь, мол, каким героем был наш забулдыга, но от орла не отмахнешься, не будь его, куда бы ни шло... А вот он, нацелил клюв, будто вот-вот вцепится в горло Жоржика.

— Что ни говори, это мой талисман, от жениных когтей меня оберегает...

Ни к чему не лежала душа Жоржика, ходил в полевых сторожах, охранял яблоневый сад, даже шоферил какое-то время, но после того как по пьянке вле-

тел в канал, махнул рукой и на шоферство. Машину угробил и сам бы утонул, как кутенок, не окажись поблизости случайные люди. Оглушенного, наглотававшего воды едва вытащили из канала, уложили на берегу, встали на живот — фонтаном хлынула вода пополам с вином.

Тогда-то и вспомнил он старое ремесло, отыскал изъеденный молью доли, натянул на него новую кожу, сговорился с Таши-Бичико из нижней деревни и ходят на пару по деревням. Уйдут утром, а вечером тащат отдельно Жоржика, отдельно — его барабан. А то пропадает на несколько дней — смотря по тому, где приветят.

Однако нет ничего занятнее, чем наблюдать за Жоржиком, когда он поставит левую ногу на стул, склонится ухом к доли, забарабанит пальцами и затянет хриплым голосом песню. По груди с орлом течет пот, глаза постепенно сужаются. Наконец заснет и захрапит — хр, хр, хр... Тогда он уже ни в музыканты, ни в кутилы не годится, два-три часа — как бревно, головы не поднимет...

Недавно на свадьбе отключился, так не то, что заработанные, свои, кровные денежки украли.

— Ты никому не верь, твой отец честный и сидит несправедливо, — как-то, подвыпив, внушал он мне, — я за дело сидел, заслужил... Твой отец — не мне чета... Никому, понял, не верь! Когда вернется, не брезгуй им...

За эти слова я люблю Жоржика.

Когда умерла мама, он принес нам двести рублей: разбогатеете — отдадите, нет — пусть вам на пользу пойдут. Как свой, помогал нам, рюмки не выпил...

Не успел я войти во двор, как услышал скрип телеги.

— Скорей, сынок! Керосин! Выноси бидон, я следом! — крикнула мне бабушка.

Гремя посудой, бежали соседи.

Керосинщик Кола, подложив под колесо камень, достал воронку.

— За яйца не отпустишь? — приковыляла старуха Пело.

— Сколько тебе говорить, нет у меня насадки... За

деньги, старая, сегодня все за деньги, слышишь? — от-
казал керосинщик.

— Чего разорался, горлодер! — укротила его Пело, доставая из-за пазухи завязанный носовой платок; с трудом распустив узел, раскатала на ладони две мятые жалкие рублевки, разгладила и, прищурясь, стала прикидывать в уме, сколько причитается толстокожему керосинщику.

Я заметил жеребенка, он мыкался у оглобли, напуганный людским шумом.

«Вот это да, откуда он здесь?» — всучив бидон бабушке, я спереди обошел телегу.

Ее было не узнать — белая кобыла, понуро свесив голову и вяло жуя сено в торбе, смиренно стояла в упряжке, лоснясь керосиновыми пятнами; некогда красиво распущенный хвост завязан узлом, высокие ноги заляпаны грязью. Она показалась мне пришибленной и подурневшей, придавленной тяжестью телеги, похожая на ту телку на выгоне...

«Эх, Андро, Андро, чтоб тебе пропасть, продал-таки!»

Кола отмерил керосин. Женщины мечут грома и молнии — прямо на глазах обжуживает!

Мужчины похохатывают, стоя у стены.

— Зачем же вы жеребенка продали?

— Сам не пойму, с матерью не хотел разлучать. — чешет в затылке Андро.

Я встретился с ней в прошлом году, на исходе мая или в начале июня.

Летняя жара еще не подвялила траву и листья. И молодые колосья не впивались, как иголки, усиками в ладонь.

Дорога к кладбищу делит поле на две части. Один конец ее доходит до деревни и распускается там на множество дорожек и троп, а другой — вьется вверх по склону, сужается меж замшелых плит и покосившихся крестов и обрывается у порога церкви, за которым царит вечный вечер.

Тогда я еще не понимал, что никому из деревни не избежать этой дороги, никуда не спрятаться от нее, не удлинить и не укоротить, и смотреть на нее следует, как на лишенный дверей проем церкви, напоми-

нающий пустую глазницу, где иногда слезой мерцает трепетный огонек свечи...

Еще немного, и за кладбищем вспыхнуло сияние, словно там разошлась земля, и освободившееся солнце распрямляет спину. Оно так близко, что чудится — перебежишь через хребет и ухватишь его за золотые косы, однако не тут-то было, оно никому не позволит дотянуться до себя.

Полувзошедшее солнце взглянуло и на нашу сторону. Нива исподволь окуналась в водоворот света.

На опушке леса показалась белая лошадь. Она не шла, но плыла по колено в траве. Гордо вскинув высокую шею и как бы струясь, она несла слегка приподнятый хвост, словно оберегая его от росистой травы.

Чуть позже я заметил жеребенка, такого же гордого и красивого. Однако до царственной материнской стати ему было еще далеко, он прыгал, обегал лошадь то с той, то с этой стороны.

Мать не обращала на него внимания, очарованная собой, она ровным шагом рассекала зелень, оставляя коридором полегшую траву.

Сначала я припустился по дороге, потом срезал угол по полю и встал на ее пути, но она, как ни в чем не бывало, проплыла мимо меня и, гарцуя, выбежала к кладбищу.

Там она вдруг замерла, повернула голову и уставилась на солнце, прядая ушами, что, вероятно, было признаком удовольствия или недоумения.

Не знаю, сколько она простояла так — зыбкая на фоне ослепительного солнца — прикрыв глаза, погрузившись в блаженство. Она не шелохнулась, когда ворон долбанул клювом ее резвого сына. Перепуганный жеребенок прижался к ее боку и спрятал голову под ее животом.

Важный ворон скакнул на могильную плиту и стал расхаживать по ней, точно заложивший руки за спину озабоченный человек...

Солнце поднялось выше, оцепеневшая лошадь вдруг вскинулась на дыбы, резко вздернула копытами, грива расплескалась в воздухе, застыв на мгновение остановившимся белым водопадом.

Мощное ржание ошарашило ворона, он испуганно заработал крыльями и взмыл на кровлю церкви.

Лошадь поскакала вниз по склону, шея ее вытянулась вперед, как стрела, грива спуталась, высокие ноги, истово соревнуясь друг с другом, с легкостью бабочки несли тяжелое, сильное тело; в ней уже не осталось и следа недавней невозмутимости.

Неожиданный порыв лошади испугал меня, тревожно улыбаясь, я отступил назад, чтобы не угодить под копыта.

Переполненный невыразимым восторгом, я наклонился и поцеловал нежный лепесток мака...

Почудилось, что он ответил мне...

Так я поцеловал Тамрико во второй раз... и без нее. Мне показалось, что высунулась вся деревня и на усталых, постных лицах округлились глаза...

Я не мог вынести этот буравящий взгляд деревни, оставалось укротить его или бежать без оглядки.

Я поднял голову, наши взгляды скрестились, высекая искры, но никто не уступил, здесь уперся я, там — деревня...

Лошади с сыном уже не было видно.

Я направился к мельнице.

Желоб был перекрыт. Цкалоба сидел на бревенчатой скамейке под ивами и вырезал ложку.

— Здравствуйте!

— Здравствуй, сынок... Присаживайся... Пстой, я смахну! — он рукой смел со скамейки стружки.

— Отмолотись?

— Отмолотся... Два дня ни одна живая душа не заглядывает. Чем так разжились, что хлеб уже не пекут? — он повертел ложку, разглядывая ее, как покупатель. — Надо еще немного выбрать... Все пустяки, но я прямо оглох. Хоть бы мыши умели разговаривать... Столько их развелось, трех мышеловок не хватает.

— Вам надо кошку завести.

— Была у меня одна, пуганая, что ли, ни одной пойманной ею мыши не видал, все мяукала, глядя мне в руки. Надо бы одолжить у Габриадзе, у них такая, ей даже крысы нипочем.

— Правда? — удивился я, чтобы потрафить мельнику.

— А как же! Всеми мышинному царству известна.. Ну-ка, взгляни, какова? — он гордо протянул мне свою поделку.

Ложка в самом деле хороша, тонкая, легкая.

— Вяз, все сносится — трещинки не появится. А под миску или ступку самое лучшее — орех...

— Привет честной компании! — керосинщик Кола скинул мешок у входа, — будь он неладен, поясницу надсадил.

— Как бы тебе с непривычки пупок не сорвать, — подмигнул мне Цкалоба. — Телегу-то куда дел?

— Чума ее подери, — отдуваясь, Кола сел, — лошадь ногу сломала, не самому же впрягаться?!. Никто от меня добра не видел, вот, пусть теперь побегают в город за керосином...

— Не очень-то заносись, а до тебя мы что, без керосина сидели? Скажем еврею Исаку, он в нижнюю деревню возит и к нам привезет.

— Знатного бобра убьете, — разозлился Кола, — он вас так облупит, что...

— Ты у нас больно щедрый.

— Некогда мне, отложи свою ложку, — сменил тему разговора керосинщик, — мне скоро уходить пора.

— С этого и начинал бы, — поднимаясь, усмехнулся мельник.

— Можно я пуцу? — попросил я.

— Пусти, только осторожно, не поскользнься.

Они втащили мешок, а я за мельницей поднял створ, прикрывающий горловину желоба.

Вода заклокотала и, как бешеная, ринулась на плицы. К плеску воды присоединился глухой рокот жерновов.

Присев на корточки, я ополоснул грязные руки и... почувствовал на себе чей-то взгляд. Вскинул голову — надо мной стояла лошадь. Утолив пыл, она присмирела и спокойно смотрела на меня. Я приласкал ее.

— Ты, значит, любишь солнце, лошадь, очень любишь?.. Что скрываешь, я же видел, как вы льнули друг к другу... Потом, наверное, и твой сын полюбит его, этот глупый стригунок. Потом...

Мне вспомнилась моя слеза, красной каплей скользящая по лепестку мака, и я прикусил язык.

Вчера выдался тяжелый денек.

— Кто вы и кто мы, куда, спрашивается, лезете, чтоб у него ноги отсохли, чтоб я не видела его рядом с Тамрико, не то пожалуюсь отцу, он его пристукнет, как цыпленка! — выходила из себя мать Тамрико.

— Какой у них возраст такими делами заниматься; они еще дети, а тебе срам дурное думать! — и голос бабушки был не тише.

— Ты у полевого сторожа спроси!

— Что он знает, чтоб ему ослепнуть?!

— Они в стог забрались, их даже видно не было, — собственные слова еще больше взвинтили женщину у плетня, — как скажу отцу, он ему шкуру...

— А зачем она с ним пошла, вы сначала свою придержите, а потом говорите... Не воображается ли вам, что мы в вас души не чаем?!

Баталия на сей раз ограничилась обоюдными угрозами, хотя чувствовалось, что силы были явно неравны...

— Что ты спросила, лошадь?.. В стог мы залезли потому, что нас застал дождь, и больше ничего... Мы впервые поцеловались, так осторожно, так осторожно, что у тебя бы сердце обмерло... Мокрый и теплый лепесток мака. Я поцеловал ее, и как будто вспыхнул стог — мы испугались и выскочили... Бежали под дождем и плакали... Или смеялись?.. Не помню.

А они еще — «кто вы и кто мы?!» Понимаешь, лошадь?.. Они не знают, что ночью, когда ложусь, я провожу пальцем по губам и снова чувствую тепло и нежность влажного макового лепестка... Этого им все равно не отнять у меня!

Лошадь вскинула голову — конечно!..

— Цкалоба, эта лошадь Андро, да?

— Его.

— Хороша, — керосинщик приблизился к нам, обошел вокруг, жадно приглядываясь к лошади. — Хороша! — повторил он, похлопывая ее по крупу.

Лошадь отскочила, будто нарвавшись на колючку.

— О-о, резвая! — оскалил серебряные зубы Кола.

Бабушка говорит, что он вставил их на недолитый керосин.

— Чего она ходит без присмотра?

— Кому за ней присматривать? Андро горюет — одичала, совсем бешеная, ни в упряжку, ни под седло, сколько лошадей поменял, такой неукротимой не попадалось.

— Ни в упряжку, говорит? — ухмыльнулся керосинщик. — Пусть отдаст мне, я ему покажу, как запрягают.

— Так и бегают, где захочет, сам видишь, как гуляет, и у меня не впервой гостит.

— Хороша, хороша, — Кола не отводил глаз от лошади, потом подхватил Цкалобу под руку и они, переговариваясь, вернулись на мельницу.

Я не вытерпел и пошел за ними. Мельник ссыпал муку в мешок, а керосинщик расхаживал из угла в угол по корявому, скрипучему полу.

— Значит, так, ты улаживаешь это дело, а я в долгу не останусь. Сколько ни попросит — дам. А ему она на что, чтоб состарилась без пользы?

— Я переговорю, но он довольно упрямый.

Из летка выскочили последние зерна, скоро иссяк и мучной ручей.

— Ты уж постарайся, мне все равно искать, так лучше здесь... А такую лошадь сейчас редко...

— Он не продаст! — сказал я.

— Почему? — посмотрел на меня керосинщик.

— Мы хотели купить, он отказал, сказал, что любит ее, как дочь, пусть никто об этом не заикается! — вру я.

— Вам-то зачем? — мельник завязывает мешок.

— Если она тебе нужна, чтоб похитить Тамрико, так уж и быть, куплю и одолжу тебе на несколько дней, — керосинщик сдобрил шутку ядом.

— Не твое дело! — злость подступила к горлу.

— Я прокукарекал, а ты поступай, как знаешь... Ее отец слопает вас с потрохами, и тю-тю, — он хлопнул рукой об руку, — от тебя козлиного хвоста не останется...

— Будет вам, петухи, не теряйте голову, как некоторые, — урезонил нас мельник, отряхивая испачканные

в муке руки. — Нашли чему удивляться, не из берлоги же вылезли...

— А ему во вкусе не откажешь, — гнул свое Кола,
— только тебе не дотянуться, холостой запал...

Взрывы хохота изнемогавшего от веселья керосинщика хлестали меня, как пощечины.

Уступать было нельзя, но что я мог сделать с этим типом, как осадить его, чем оборвать его мерзкий хохот?.. Взгляд и рука одновременно наткнулись на закоптелый обломок кирпича.

Бледный, онемевший керосинщик, зацепив табуретку, отпрянул к стене. Мельник бросился между нами, заслонил керосинщика, схватил меня за запястье сухой, немогущей рукой.

— Ты что, Дато! — отрезвил меня его голос.

Я опустил руку. Не удержи он меня, я бы не промахнулся. Кола проглотил бы свои керосиновые зубы.

— Сморгаться еще не научился, а туда же, — Цкалоба выдернул кирпич из моих ослабевших пальцев и отбросил в угол.

Кепка керосинщика валялась в пыли, как жирная сковородка.

Я с трудом повернулся на трясущихся ногах и вышел за дверь.

— Что я видел, а, у него совершенно безумные глаза.

— А ты не заслужил, чтобы он вкатил тебе? — донеслось сзади.

Матери с сыном уже не было.

* * *

Потеплело, как весной. Если не смотреть на обтрясенный орешник и голые тополя, ни за что не поверишь, что скоро падет иней, и белые вершины окутаются туманом.

Где-то там прикован цепью могучий великан Амиран¹, когда в горах грохочет, это он силится разорвать цепь...

¹ Амиран, Бадри, Усиб, Камар — герои народного эпоса «Амираниани», Тетрона — белая лошадь.

Уходи, Бадри, или я уйду,
Или меч наточите мне,
Я уйду и сюда никогда не приду,
Эх, судьба моя, горько мне.



Снова слышу мамин голос:

— По трупам рати нечистых, усеявших землю, как камни, быстрее ветра несется Тетрона, и одевшая траур Кура проливает слезы над Амираном...

«Вот если он освободится... Если освободится, горе тогда кузнецу Датико», — я надеваю железные постолы и шагаю к горам, сверкающим ледниками. Вхожу в мрачную пещеру. Пугливые летучие мыши натыкаются на стены, ухает филин, нахохлившаяся сова уставилась на меня холодными глазами.

Гремя тяжелой цепью, поворачивается ко мне бородатый великан с отросшими до пояса волосами:

— Кто ты и почему живой?

«Почему живой... Почему живой», — раскатывается по пещере.

— Бадри мертв, и Усиб, и Камар, и Тетрона... Одни кузнецы остались, — он поникает головой.

— Я... Я не кузнец.

— Врешь!

— Клянусь мамой!

Великан поднимает голову, это не Амиран, это мой отец.

— Папа, папа! — шепчу я, обхватив его колени, — наконец-то я нашел тебя...

Прошли годы, но мне все кажется, что мой отец заперт в ледяных горах и ждет моего прихода; временами он отгоняет назойливых летучих мышей взмахом закованной руки, и при каждом его взмахе трещит пещера, и камни осыпаются со стен. Тучи, пропитанные отцовской тоской, плывут к нашей деревне, и дождь льет только на нашу крышу...

Прошел Жоржик с доли через плечо, следом поспешает жена, поправляя на ходу шаль и шаркая шлепанцами:

— Не напивайся, выпей немного и будет... Скажи,

что лекарство принимаешь, тогда не будут приставать...

— Жоржик, сам придешь или принесут? — окликнул его Абриа.

— И этот туда же! — обиделся Жоржик.

— Туда же, конечно, туда же, а кто виноват?.. Хоть сегодня, золотой мой, назло им воздержись...

— Ладно, ладно, что прицепилась!

— Не забудь, что сказала, лекарство, скажи, пью... Понял?

— Напьется?

— Что ты, на пушечный выстрел не подойдет! — перешучиваются мужчины.

Тамрико ходит по веранде, прижав к груди раскрытую книгу, иногда останавливается и бросает взгляд на страницу своими сине-зелеными очами.

Артема дремлет; как ящерицы, лежат на подлокотнике его желтоватые руки.

— Человек не знает, что его ожидает в конце, — замечает хромой Миха и все оборачиваются к веранде.

— Крепко пришибло, даже не пришибло, а прикончило... В Ленинграде достали какое-то лекарство, им и держится, — сплюнул Андро.

— Героем был.

— Для себя еще каким, — вмешался в разговор кузнец Датико, попыхивая неразлучной трубкой. — Всю жизнь заставлял тебя прислуживать, как собаку.

— Ты только это и знаешь, — надулся Миха, — хотел и служил... Если человек поскользнулся, непременно надо на него наступить.

— Это он на всех наступал, а теперь и слова про него не скажи?

— А что ему оставалось, время было такое, дело требовало, — у Миха за расстегнутым воротом заиграл кадык.

— Брось ты!.. «Дело требовало», — передразнил Датико, — так и помрешь дурак дураком. Люди в космос летают, а ты все еще из берлоги не выбрался...

— Это невестка благополучного Габо? — Абриа проводил взглядом идущую за водой женщину.

— Его... — посмотрели на нее остальные.

— Он нос задирает, а невестка, как наш Жоржик, ходит грудь нараспашку!

— Тебе что, досадно?

— Пусть ее благоверный досадует, а по мне — чем глубже загляну, тем слаще, — заржал Абриа.

Про таких, как он, говорят — оторви и брось.

Алиашвилиевская Турпа развелась с третьим мужем, Абриа привез ее на своем грузовике.

«Снова вываляла нас в грязи!» — близкие встретили ее несколькими подзатыльниками и приняли завернутого в тряпье ребенка.

Абриа откинул скрипучий борт, в третий раз соседи помогли выгрузить вернувшееся приданое — никелированную кровать, постель, гардероб.

— К каким людям я попала — злодеи, скупердяи, кровопийцы, — разводила руками Турпа, окруженная женщинами, — с одной стороны — мужу угождай, с другой — свекрови, с третьей — деверям... Заездили, загрызли... В могилу загнать кекелиановскую Нанку — что подстроила, с кем меня свела, бывает же такая подлость!

Посмеиваясь втихомолку, женщины утешали ее — правильно, мол, сделала, что избавилась от них, не на съедение же отдавать себя, ты такая девушка, еще устроишь свою судьбу.

Турпа, внимая их утешениям, выдавила несколько слезинок, промокнула платочком глаза и расположилась среди женщин:

— Помадой не мажься, не пудрись, кого ты завлекаешь, голову часто моешь... Грязнули, грязнули, в постель хоть не ложись... Если счастья нет, к чему мне такой муж — в саже ходить?..

— Узнаешь? — спросил Абриа, подталкивая детей, которые, открыв рот, смотрели на Турпу.

— О-о, драгоценные мои! — она посадила обоих на колени. — Из-за них места себе не находила. Наши ничего для них не жалели, но материнское тепло...

Дети нерешительно прижались к ней.

Один — рыжий, от городского, оттуда привезла, второй — чернящий, как котел, — от Како Тангирашвили, каков третий, увидим, когда подрастет...

— Эх, Турпа, покуда не сменишь приданое, не видать тебе счастья, в нем вся порча, — оскалился Абриа.

— Правильно говорит, — поддержали его женщины. — Когда в следующий раз выйдешь замуж, возьми что-нибудь другое или пустая иди, обживешься, приглядишься, по нраву придется, решишь обосноваться — приданое не убежит, тогда и заберешь, а то наши мужики надорвались таскать его туда-сюда.

Турпа, якобы не понимая насмешек, обещает последовать их совету.

— Зайди, ребенок плачет! — позвала мать.

Турпа немедленно расстегнула верхнюю пуговицу и торопливо ушла.

Абриа проводил ее взглядом, вздохнул, и взревевший грузовик чуть не снес угол стены.

— Чтоб тебе пропасть, ненормальный! — полетели ему вслед проклятия всполошившихся женщин.

Турпа скоро утешилась, хотя и раньше не особенно убивалась — на свадьбе Важа сбросила туфли и станцевала на столе.

По-разному восприняли ее танец жены и мужья. Мужчины — те отбили себе ладони, хлопая... Наконец, Абриа, пьяный, конечно, вспрыгнул к ней, пустился вприсядку, но только присел, стол и перевернулся.

Турпа, одернув задравшееся платье, как ни в чем не бывало поплыла по кругу, а Абриа, расквасивший себе нос, прислонился головой к коленям жены, приложив к лицу мокрую тряпку.

Я сидел красный, ничего не видя вокруг, не в силах избавиться от видения открывшихся на миг голых женских ног.

— Лучше бы шею себе сломал, шею! — исподтишка щипала Абриа жена; от злости лицо ее пошло красными пятнами, однако она смеялась, чтобы не ронять себя перед людьми. Руки ее тряслись, надо думать, от желания выцарапать пьяные зенки муженька, но она понимала, что все только этого и ждут, а кому охота выставлять себя на посмешище?

А Турпе не было удержу, ее искрометные глаза косили мужчин наповал; если бы ее вовремя не остановили, нам в четвертый раз пришлось бы вытаскивать

ее приданое и провожать в новый путь на расхристанном грузовике Абриа.

Абриа тоже сорвался с привязи, громко сигналя, носился мимо дома Турпы. Та, высовываясь в окно, кокетливо улыбалась ему.

Терпение Абриа лопнуло, осточертело голодным волком рыскать вокруг да около, вытащил ее однажды с какой-то пирушки и давай тискать за сараем.

— Не за ту ты меня принимаешь, — отбивалась Турпа.

Какая «та», клялся Абриа, без тебя мне свет не мил, если оттолкнешь, руки на себя наложу.

Что ей оставалось делать — после пирушки, как уснут все, подойди к окну со стороны сада и посвисти три раза.

«Посвисти!» — Абриа чуть не закувыркался от радости.

Пирушка закончилась, все разошлись, на улице — ни души, только Абриа затаился под яблоней, ждет... Наконец-то улеглись, погас свет в домах. Выждав немного, он на цыпочках подкрался к окну, свистеть не пришлось — окно отворилось и выглянула Турпа:

— Пришел?

— Ага! — ответил он в блаженном полубморке.

— Какая темень...

— Для нас в самый раз... Вылазь...

— Удержишь?

— Не только удержу, пожелай, унесу вместе с домом.

— Боюсь я, Абриа, дойдет до твоей жены, не буду знать, в какую нору спрятаться...

— Только выйди, ты же знаешь, я — могила!

— Не верится мне, что ты ее не любишь...

— Когда я ее любил?! Скорей, мочи нет...

— Сейчас, только на ребенка взгляну. — Турпа отошла от окна.

Скоро перед лицом жмущегося к стене Абриа показались две ноги. Он поспешил помочь, сгреб женщину в охапку и уже не отпускал, косноязычно лепеча:

— Турпа, душечка, Турпа!

У плетня — крапива, в кукурузу?.. Сойдет — лето, земля и ночами теплая.

Вдруг вспыхнул свет, и ошеломленный Абриа уви-
дел выглядывающую в окно Турпу.

«А это кто?» — только успел он подумать, как,
будто мокрой веткой, получил по физиономии.

— Распутник, чтоб ты сдох, сдох! — и жена прош-
лась по второй щеке.

Посрамленный и уничтоженный Абриа пустился
наутек. У перелаза его догнал звонкий смех Турпы.

Уговорить жену не трезвонить было нетрудно, но...

— Привязался, прохода не дает... Если у меня бы-
ло три мужа, значит, я честь потеряла?.. Люди, изве-
стное дело, такое наплетут... Я и устроила ему... Жена
собственными глазами видела, как подбирается к окну...

Может быть, он на самом деле тебя любит, пожале-
ла бы его, — пытались разжалобить ее, но сердце Тур-
пы, как она говорила, было на замке, так что Абриа
ее близко не нюхать.

А срамнику Абриа как с гуся вода, таращит проз-
рачные, бесцветные зенки и, покуда по шее не нако-
стыляют, не образумится...

Вечером к нам в гости пришли Тина и Нико.

Бабушка сняла полотенце с еще теплых пирогов,
мы сели за стол, а тут заглянули Иванэ с Георгием.

— Садись сюда, во главе стола, ты уже мужчина.

Все затаенно улыбнулись. Чтобы скрыть волнение, я
потянулся к кувшину с вином.

— Я налью! — опередил меня Иванэ и наполнил
всем стаканы.

Я не слышал, что я говорю, с трудом подбирая
слова тостов, но был счастлив — с сегодняшнего дня
в нашем доме есть мужской дух, и даже вода из-под
моих рук ценнее двенадцати упряжек быков.

Мама, как прилежная ученица, ловит каждое мое
слово, и крупная, красивая слеза блестит на ее гла-
зах.

* * *

— Спокойной ночи, мужчина! — Нико задержива-
ет мою руку в своей.

Он навеселе, блестят прищуренные глаза.

— Пойдем, не простудись, — гладит его по плечу Тина.

— Видишь, как заботятся? Когда женишься, и о тебе будут заботиться.

— Что ты болтаешь!..

— Ничего плохого я не говорю, у него будут и жена, и дети, а как же, разве этому миру не нужен хозяин? «Видишь цвет туманной сливы, это горы родины моей...» Мы с тобой вместе прочтем Галактиона. Он велик, ох, как велик, понимаешь?.. «Сверкающее, львиного цвета девятого октября...» Мы уходим, мужчины!.. Знаешь, что меня поражает больше всего? — он поворачивается ко мне. — Когда среди мусорной кучи вырастает прелестный, благоуханный, голубой цветок!.. Как это происходит, отчего вдруг?.. Тебя это не удивляет, Тина?!

На веранде неподвижно, как статуя, стоит Тамрико и смотрит вдаль, на горы «цвета туманной сливы».

Тина в накинутом на плечи пиджаке под руку уводит Нико.

Почти весенний день завершается синей ночью.

Я сел на скамейку под тутовым деревом, сложил на груди руки, прислонился к стволу и закрыл глаза.

Под веками у меня две маленькие ночи, когда взгрустнется, смежаю веки и хожу в тех ночах, брожу, встречаю только того, кого рад видеть, и вижу то, о чем соскучился...

В ночах иногда сияет луна — мои слезы... Разве слезы сияют, спросите вы; попробуйте капнуть на ладонь слезой — засияет она или нет?.. Нет? Не знаю, как у вас, а мои сияют и...

По лугу ходит женщина с большой свечой в руках и воркует:

— Здравствуйте, райские красавицы, как вам спится в обнимку? Темнота пугает? — Поставлю вам эту свечку, как догорит она — займется заря. Зачем вы торопите утро? Пробудятся люди, нашьют на вас стада, пройдут они, потравят вас, клевер, гречишник... А вас, ромашки и маки, растопчут по земле...

— Мама! — позвал я ее.

Она обернулась, осветила меня свечой, на шее дрогнула выпуклая жилка.

— Ты откуда здесь взялся? Уходи, за реку не перебирайся, она разольется, не сможешь вернуться назад.

— Только нашел тебя и сразу уходить?

— Да, да!

— Ты меня больше не любишь, вот и гонишь?

— Не смей так говорить... Если ты останешься, что я скажу твоему отцу... Уходи!

Она повернулась и величаво пошла по лугу.

«Надо было спросить, болит ли у нее после операции!..»

— Дато, Дато, нашел где спать — под тутой... Я думала, ты Нико с Тиной провожаешь.

— Знала бы, какой ты сон спугнула!

— Ничего, в постели досмотришь, твоего никто не увидит!

Собака с лаем кидается к забору. По голосам узнаю — Абриа и Миха. Языками не ворочают, косноязычат что-то.

«Значит, на скорую руку... По три стаканчика...»

— Вот твои «по три»...

* * *

Я долго разглядывал в зеркале синяк под глазом. Голова все еще кружится. Сбросив рубашку с оторванными пуговицами, я растянулся на тахте, приложив к глазу мокрый платок.

Черт с ней, с болью, только бы незаметно было, как тогда отбояриваться от бабушки.

На большой перемене мы стояли у окна, глядя на воробьев, усеявших провода.

— По мельнице не соскучилась?

— Соскучилась.

— Сходим после уроков?

— Дома что скажу?

— Придумывать разучилась?

— Разучилась.

— Тогда скажи правду.

— Ты же знаешь, «говорящий правду должен держать лошадь наготове».

— Подержим, только не забудь зеркальце и рас-
ческу.

— Хи-хи! — прыснула Тамрико.

Упорный взгляд заставил нас обернуться.

* * *

У стены стояли брат Тамрико и Отар, сын Никала.

— Поди-ка! — поманил меня пальцем брат.

Тамрико прошла в класс, а Отар, засунув руки в карманы, двинулся ко мне.

Я весь покрылся противной гусиной кожей...

Я, только что оправившийся от краснухи, привязал к санкам веревку и вышел на воздух. Ребяшня раската-ла спуск около Отарова дома. На первый раз я не справился с санками и чуть не налетел на женщину в черном. Она уставилась на меня холодными, застывшими глазами.

— Сынок убийцы, чтоб в вашем доме траур не переводился!

Неприятный, хриплый голос приковал меня к месту, но потом я подумал, что она прокликает кого-то другого.

— Куда смотришь, чтоб тебе ослепнуть!.. Чуть ноги не поломал... Скоро в дом влетите... Чтоб вам передохнуть!

Еще долго поносила меня бабушка Отара. Сердце у меня оборвалось, ноги как приросли к земле, а тут из дома выскочили Отар и его двоюродный брат Анзор.


— Пришел на нашу беду полюбоваться, — набросился на меня Анзор, завернул руки за спину и крикнул Отару, — бей!

Тот начал меня колошматить.

Я не чувствовал боли, только по привкусу во рту понял, что у меня из носу течет кровь. Нагнулся за шапкой. Плотный ком снега с треском врезался мне в затылок. На миг все смешалось, передо мной оказались не один, а пять Отаров, и на лицах этих патерик я тщетно искал жалость.

— На сегодня ему хватит! — увел Отара Анзор.

В щели забора я заметил довольный женский глаз.



Подошедшие ребята пришибленно смотрели на меня. Наконец, кто-то отряхнул мою шапку и подал мне. И я не выдержал, я ревел не от боли, а скорее оттого, что никто не решился прийти мне на помощь. Вот как было, и с того дня мы не разговаривали с Отаром. Он все время искал повода для стычки, но я избегал его, не в состоянии пересилить былой страх, при виде этого парня у меня отнимались ноги. И сейчас замозжило затылок, словно в меня снова угодил твердый снежок — на меня наступали пять Отаров и сзади их натравливал ледяной, прячущийся за забором глаз.

Я отвернулся к окну.

— Ты когда отцепишься от этой девчонки?

От волнения у меня чуть не остановилось сердце.

— Тебе говорят!

— Что тебе?

— Не кумекаешь, что?

«Какой у всех в их семье одинаково противный голос — заносчивый, насмешливый, из миллиона других узнаешь, — я заставил себя посмотреть ему в глаза, — морда лоснится, видимо, бреется вовсю».

— Отстань, какие у нас могут быть дела?! — столь постыдно жалко вырвалось у меня, что я передернулся от злости.

Взгляд довольного Отара налился еще большим презрением.

— Ты бы хоть спросил, может, она другому нравится... А если считаешь кого-то ниже себя, стыкнемся разок... У меня два дня руки чешутся... Вот понюхай! — он поднес кулак к моему носу.

«Неужели я и на этот раз окажусь один», — не успел я это подумать, как вышедший из класса Георгий раздвинул обступивших нас ребят и встал рядом со мной. Его, по-видимому, послала Тамрико. Сердце отпустило, передо мной стояли не пятеро, а один Отар. Я не мог отвести глаз от его лоснящегося подбородка — я должен вlepить ему, превозмочь старый страх, выплеснуть многолетнюю злость...

Снова пересеклись наши дороги. Так скоро, и из-за Тамрико. Не предполагал, что когда-нибудь мы сойдемся лицом к лицу, я понимал... У меня не было ино-



— Когда он заплакал, мне стало его жалко. Я хотел сказать, что мне тоже, но смолчал, боясь, что он не поверит мне.

Теленок жевал рукав моей школьной куртки, я отогнал его комом земли.

— Наябедничает дома? — закинув руки за голову, Георгий крутил на губах соломинку.

— Не знаю, завтра выяснится... Это черный гриф?

— Нет, ворон.

Равномерно и мощно поводя крыльями, птица кружилась над гумном, высматривая что-то внизу.

— Что он ищет?

— Наверняка, пуговицы от твоей рубашки, — засмеялся Георгий...

Вошла бабушка:

— Что с тобой, сынок, до твоих ли драк мне теперь?!

— Кто тебе рассказал?

— Узнала.

— Все-таки?

— Мне даже известно, почему вы подрались: чего ты добиваешься, отстань от нее, им с сынком Никала одна цена.

Я стал в тупик — моя бабушка и так спокойно рассуждает, и о ком — о внучке Артемы.

— Дело не только в ней... У нас старые счеты.

— Натура у них скверная, боюсь, как бы беду на тебя не навлекли.

— Пусть они боятся.

— Ты вправду крепко отдубасил его? — бабушка не скрывала удовлетворения...

Снова всплыли те тяжелые дни...

Отца увезли.

Семья твауриевского сына перебралась к родственникам.

Не заболел ли я краснухой, мы бы тоже уехали к дяде — здесь пошла такая круговерть, что лучше держаться подальше.

К нам никто не заходит, кроме Иванэ да учителя Арчила. Боятся, Никала умер, зато его, как выражается бабушка, прихвостни мутят воду, грозятся кровью

смыть кровь. С руганью проходят мимо нашего дома. У пса челюсть отваливается от лая. Он, будто нутром чуя что-то, целыми днями пролеживает в коридоре на подстилке и бдит, со двора ни шагу, помахивая хвостом и грозно рыча, обнюхивает все углы, осматривает. Перед сном бабушка запирает дверь, и под кроватью у нее лежит остро отточенный топор. Мама совсем потеряла голову, растерянная, она не отходит от меня...

Никала похоронили, галдеж расходящихся с поминок слышен по всей деревне.

— Господи, пошли нам мирную ночь! — крестится бабушка и, насилиу оттащив от ворот лающего пса, заводит его в дом и грозит пальцем. — Цыц, сиди молча!

Мама, не раздеваясь, ложится со мной; усталая, она сразу засыпает. Нога у меня затекла, но я боюсь пошевелиться, чтобы не потревожить ее сон.

Бабушка вяжет, не поднимая головы и поминутно вздыхая — Господи, что делать?!

В свете лампы сияет лезвие топора.

Я уснул.

Кто-то, слаженно чеканя шаг, ходит по двору... Выглядываю — это мои дяди, фуражки набекрень, руки — на эфесах сверкающих сабель, кожаные портупей через плечо.

«Нечего бояться, скоро и папа приедет последним автобусом, пусть тогда поругаются Никалины прихвостники», — радуюсь я во сне, глядя на пустые, еще качающиеся рамки портретов.

Утром двор запорошило девственным снегом, мои дядья снова «вернулись» в рамки, а автобус, который должен был привезти папу из города, так и не приехал — ни во сне, ни наяву...

Он прибывал из города дважды в день — утром и вечером, и каждый раз я, съезжившись, топтался на остановке.

Автобус сворачивал к центру деревни, огибал его, высаживал пассажиров. Седой шофер поднимал капот, проверял масло, затем снимал пробку радиатора — оттуда вырывался горячий пар. Шофер протягивал кому-нибудь из мальчишек продавленное сбоку ведро:

— Ну-ка, братцы, сбегайте за водой.

Обманувшийся в своих ожиданиях, я почему-то вообразил, что этот седой не взял моего отца, с чего бы он так надолго задержался в городе.

— Что ты каждый день мерзнешь тут, как по повестке, кого ждешь? — присев передо мной на корточки и вытирая руки ветошью, спросил он однажды.

Я неприязненно посмотрел на него.

— О-о, как ты умеешь брови сводить...

— Я папу жду... Он обещал вечерним автобусом приехать.

— Его, наверное, дела задержали. Никуда не денется твой папа, придет. Беги домой, а то простудишься.

Он поднялся в автобус, захлопнул дверцу, и не успел запустить мотор, как сын знахарки Като подался к нему с переднего сиденья и что-то сказал.

Шофер окинул меня жалостливым взглядом.

«Что он ему сказал?» — опустив голову, я стал утаптывать снег...

Автобус приезжал и уезжал. Шофер ни о чем больше меня не спрашивал, только угощал конфетами в разноцветных обертках.

А в начале марта, когда снег сошел и развезло дороги, меня одели во все новое, и мы поехали в город девятичасовым автобусом.

— Куда, брат, снарядился?

— С папой повидаться.

— С папой? — шофер взглянул на наших.

— Суд сегодня, — сказала бабушка, усаживая меня к окну...

Зал заполнился. Наши и родственники Никала сидели в разных концах. Женщина с застывшими глазами держала на коленях большой портрет и подвывала, как от зубной боли. Вой усилился, когда за длинным столом, покрытым зеленой скатертью, уселись мужчины с грозными лицами, и два милиционера ввели моего отца и сына Тваури. Кто-то заголосил, кто-то выматерился. Побелевший отец даже бровью не повел, только смотрел на нас, словно старался получше запомнить.

Сидящий в середине стола позвонил в колокольчик и громко призвал к тишине.

Меня подняли и посадили на колени. По запаху бензина я догадался, что это сделал шофер.

Когда зачитали приговор, сын Тваури, как подкошенный, рухнул на скамью. Отец стал еще белее, нервно отвел упавшие на глаза волосы, и когда шофер поднес меня поближе, поднял голову и через силу улыбнулся...

Противно моросил дождик. Улицы были мокрые, город — серый, холодный, неприязненный. Машина, урча, объезжала лужи и уносилась.

У автостанции толпились пассажиры.

— Где ты пропадал, Валико? — упрекнул нашего шофера высокий мужчина с красной повязкой на рукаве. — Полчаса назад должен был выехать.

— Ты же знаешь, без нужды не опоздал бы! — развел руками Валико.

Он заглянул в маленькое окошечко, оттуда ему подали какие-то бумаги, и он махнул нам — поехали.

По пути сюда наши были полны надежд, а сейчас совсем понурились, словно погрузились в глубокую, неясную думу, только качались, когда автобус встряхивало.

Я сидел рядом с Валико.

Он задумчиво следил за ухабистой дорогой, и в приспущенное окно улетал назад папиросный дымок, будто кто-то вытягивал наружу пушистую кудель.

И в деревне сыпал дождь. На остановке автобуса ожидали женщина и двое мужчин. Вся троица укрывалась под большим пестрым зонтом. Они недовольно смотрели на нас. Не дав нам выйти, захлопнули зонт, пропустили вперед женщину и поднялись следом за ней.

— Где черти носят, промокли насквозь! — пробурчал кто-то из них, чтобы слышал шофер, и расположились на передних сиденьях.

— Как вам не стыдно! — Валико оттолкнул бабушкину руку с деньгами.

— Не верьте, Валико, его несправедно осудили! — у бабушки был такой взгляд, словно моему отцу скостят срок, если шофер поверит в его невиновность.

Наша дружба не прекращалась, пока Валико не перевели на городской автобус.

На следующий день Отар не пришел в школу. Меня вызвали к директору. «Ну вот, иди к нему с таким синяком!»

У двери я нарвался на женщину с застывшими глазами. Посторонился, уступая ей дорогу. Она что-то прошипела — слов я не разобрал — и, стуча черными каблуками, ушла по коридору.

«Наябедничал все-таки... Теперь выслушивай Лаврентьеву трепологию!»

— Проходи, проходи... Садись! — директор указал мне на стул и сразу приступил к допросу. — Где подбил глаз?

«Будто не знает!»

— Упал.

— И Отар упал?

Я пожал плечами. Он снял очки и встал:

— Какое зверство...

Директор взял слишком высоко, и голос его смешно сорвался. Ему бы лучше постепенно повышать тон, так недолго и связки повредить... Хлебнул воды.

— Этому мы вас учим — лупцевать друг друга?.. Я едва удержал его бабушку, она рвалась жаловаться.

— Зачем удерживать, пусть бы жаловалась.

— Молчать! — директор хлопнул по столу. — Полюбуйтесь на него!.. Ты хоть уважай память матери своей, на что похож твой поступок? Где видано подобное безобразие?! Постоянно приходится выслушивать жалобы на тебя!.. Кончишь школу, а там хоть голову ломай!..

— А кто еще жалуется?

Директор выдвинул ящик и достал сложенный пополам листок. Я обомлел, узнав свой почерк.

Лаврентий поправил очки:

— «Тамрико, тот снег, тепло твоей руки я сохраню до гробовой доски. Когда в церкви святого Георгия ты сказала, что очень любишь меня...» Продолжать?

— Как оно попало к вам? — меня опалило пламя стыда и злости. «Неужели, Тамрико... Нет, невозможно!»

— Не твое дело!.. Что, во-первых, понадобилось детям в церкви, может быть, вы ставили свечки и мо-

лились?.. Я тебе покажу церковь! — он постучал пальцем по столу. — Перейдем ко второму вопросу...

— Урок начинается, — я попытался увильнуть от «второго вопроса».

— Сидеть!.. Знаешь ли ты, что всему свое время и возраст? — и повторил по слогам: — Возраст!

— А Ромео и Джульетта?

— Ого! — он снова водрузил на нос снятые было очки и удивленно воззрился на меня, словно перед ним сидел не я, а Бог знает кто, и мгновенная улыбка тронула его губы. — Интересно, интересно... Откуда такие познания?

— Читал, и не один раз! — я упрямо смотрел ему в глаза.

Смешавшись, он стал копаться в бумагах и почему-то опять перешел на крик:

— Нет, уважаемый, нет, Ромео и Джульетта нам не пример... Там совсем другой мир, другое время...

Распинался он долго, у меня даже уши заложило, потом отпустил:

— Сейчас иди, если подобное безобразие повторится еще раз, — он помахал листком, — мы с тобой иначе поговорим!

Ребята сгрудились под дверью.

— Что он сказал? — спросил Георгий.

— Сказал — если кто-нибудь меня тронет, будет иметь дело с ним.

Все рассмеялись, никто, конечно, не поверил мне — вся школа слышала крики Лаврентия.

— Вам особое приглашение? — Нико с журналом в руке ждал нас у дверей класса.

* * *

Георгий с Натой собирают шиповник. Мы сидим на пне. Тамрико вертит багряный кленовый листок.

— Что с тобой, улыбнись!.. Вырастет вот такой нос, разонравишься мне... Дай руку.

Я присел перед ней на корточки.

— Ты собираешься жить вечно?.. Какая длинная линия жизни!.. Посмотри на мою ладонь, самое большее еще лет двадцать проживу.

— Кто научил тебя этим глупостям! — я распра-
вил другую ее ладонь и спрятал в них лицо.

Она слабо шевелит пальцами, лаская меня. Потом они, словно прохладные стебли, скользят под подбородок, и у меня спирает дыхание. Я чувствую, как дрожат ее прижатые к моей груди колени, в лоб мне упирается пуговица ее ворсистого пальто. Залоснившийся от утюжки фартук пахнет, как тлеющее буковое поле-но. Она наклоняется, дует мне в шею. Теплое дыхание проникает за воротник, и меня трясет, как в ознобе.

— Кажется, кто-то идет.

Я вскакиваю — ни звука.

— Обманула?

— Обманула! — смеясь, убегает она.

Шр... Шр... Шр... Шуршат устилающие землю листья.

— Я устала! — она обняла граб, точно выющаяся роза.

Мне представилось, что это мощное, с раскидистыми ветвями дерево — я, а она — несчастный, загнанный охотниками олененок, прижавшийся ко мне горячей щекой...

«Почему именно ко мне, в лесу сколько угодно таких деревьев и даже лучше. Она, может быть, только сейчас открыла глаза, и когда в них рассеется туман, она поймет, что случайно припала ко мне, различит руки и оставит на память, как клеймо, след горячей щеки...

И тогда я увижу... Нет, не желаю смотреть — отвернусь, и спиной почувствую, как сине-зеленый свет ее глаз озаряет другого.

Придет Отар, насмешливо ткнет меня пальцем в подбородок, и я, не в состоянии ответить ему, кротко упаду в душистый настой преющих листьев...»

— Если люди боятся потерять друг друга, значит, они любят... Ты не боишься?

— Нет, потеряю тебя — полюблю другую.

— А я? — ее изумленные глаза остановились на мне.

— Ты полюбишь другого, хотя бы Отара, тут и сказочке конец...

«Что я мелю, думаю одно, а говорю другое?!»

— Дато, ты это серьезно?

Она такая красивая, что сердце мое готово разорваться. Я злюсь на себя, но внешне беззаботно растягиваюсь на листьях:

— Устал, не от бега, вообще устал, от ругани твоих, от судов и пересудов...

— А я при чем?

— Я пишу тебе какую-то глупость, она попадает к директору! Заодно и остальные отнеси ему, он меня облает еще хлеще...

Тамрико нетрудно довести до слез.

— Значит, глупость, да?.. Я не знаю, как оно попало к нему. Лежало в кармане, наверное, мама нашла.

— Вот-вот, яблоко от яблони... Почему не оставят меня в покое, никто к тебе не навязывается!.. Пусть забирают тебя и отдают за кого хотят, хоть за Отара, хоть за его сопливого братца!.. — собственный голос пронзает меня насквозь, каждое слово втыкается, как кинжал.

Тамрико уходит, закрыв ладонями лицо.

Я приподнимаюсь, хочу позвать ее, кинуться ей в ноги, вымолить прощение, но не могу разжать стиснутые зубы.

«Я в самом деле рехнулся!» — я потер виски и в отчаянии укусил себя за палец...

Они втроем сидели на пне. Нато с Георгием ссыпали шиповник в маленькие корзинки.

— Что у тебя такой испуганный вид, не с медведем, случайно, встретился? — пошутил Георгий.

— Говорить больше нечего?!

Георгий отвел меня в сторону:

— Почему вы поссорились?

— Отцепись от меня!

Оставив их, я пошел по склону, стиснув зубы, чтобы не разнюниться при всех.

«Безмозглый... Пенек... Дубина... Мать твою... Ревнивое, разворошенное дерьмо», — костерю я себя, мне бы сейчас столкнуться с кривоногим Анзором, с теми, кто строчит доносы на учителя Арчила, кто мог заступиться за отца, а вместо этого подставил ему ножку,

чтобы он, и без того пошатнувшийся, упал еще сильнее. А в довершение я бы привязал Артему к лошадиному хвосту, чтобы его вонючие мозги разлетелись по камням...

В молчаливой роще то здесь, то там зашелестят разом листья, заструятся вниз, падут на землю, и снова воцарится тишина.

Я перешел плотину. В застывшую тишину исподволь вторгается гул жерновов, спокойный, тягучий, как рыбацкая сеть, словно ничего не случилось, словно все идет своим чередом, теща себя своими думами. А то, что я тащу, как булыжник, отяжелевшее сердце, не интересует ровным счетом никого.

«Эх, Лоренцо, отмерь мне мою порцию яда, я умру и дам вам покой. Живите мирно, невозмутимо, как эта заводь, с утра до вечера и с вечера до утра внимайте тишине и существовайте».

— Что торчишь в дверях, заходи... Теща будет любить, — Цкалоба выкатил из огня черные картофелины, — они у меня, как сахар, во рту тают... Вот соль, соли и ешь.

— Нет ли у тебя выпить?.. Всухомятку в горло не полезет.

Он отломил кусок и протянул мне.

— Вон кувшин...

— Я не про воду...

Цкалоба удивленно посмотрел на меня:

— Слушай, ты, парень, Дато, как там тебя, не рановато тебе пить?

— Тогда и твою картошку не хочу, — я положил картофелину и отряхнул от золы руки.

— Рановато тебе, сынок, рановато! — он потянулся боком, снял с полки бутылку, дунул в стакан, налил, — рука не поднимается поднести тебе, хоть бы справку принес от Бабалэ, если до нее дойдет...

— Чем еще залить горе?

— Если бы эта штука заливала, не было бы человека беззаботнее меня... Тебе-то какое время горевать; самая пора с солнышком играть... Успеется еще... Минуй нас горечь, посети сладость! — он опорожнил стопку, налил мне...



Засунув руки в карманы и опустив плечи, как обыкновенно делает хмельной Жоржик, я, пошатываясь, бреду домой. Гул жерновов удаляется, удаляется и, наконец, гложет совсем, обрывается, тишина поглощает его...

Сам не знаю, как я оказался под окнами Турпы. Опершись о подоконник, она улыбается мне, томно водя гребнем по распущенным волосам. Вдруг разжимает пальцы, и гребень падает на камень.

— Не наступи, сломаешь.

— Сломаю, будут два, — я поднимаю его.

Она подается вперед. Золотистый крестик, висевший на ее шее, поблескивает перед моими глазами, и мне чудится...

Нет, не чудится, она в самом деле вместо гребешка схватила меня за пальцы и тянет, словно намереваясь поднять, оторвать меня от земли, вознести, как пушинку.

Халат без рукавов, ослепительное сияние молочных рук.

— Вам не холодно? — еле выдавливаю я.

— Скажешь тоже, последнее готова сбросить, — она подается ближе, и запахнутый ворот халатика открывает мне гораздо больше, чем полагается.

У меня пересыхает во рту. Турпа, проследив за моим взглядом, грозит пальцем:

— Хитрец! Ты куда смотришь? Время ли тебе заглядываться на такие вещи? Еще молоко на губах не обсохло, белое от черного не отличаешь... Все наши утром уехали к дяде и детей увезли, я тут кукую одна... А ты вообразил невесть что! Ты настоящий цыпленок, пушистый цыпленок, — она смеется и вдруг сжимает зубами нижнюю губу, словно намереваясь откусить ее.

— Не заставляй меня подняться, не то!.. — «грожу» я в горячем ознобе.

— Ох, сердце разорвется! Поднимайся, каких ангелов распугаешь!

Я взбегаю, за один миг преодолев десять ступенек лестницы. Она встречает меня в дверях. «Тсс!» — прижимает палец к губам, кивает на люльку, стоящую ме-

жду кроватями, — у ребенка выпала соска, он причмокивает во сне.

На цыпочках она за руку ведет меня в другую комнату; пальцы петлей сжимают запястье; когда отпускает меня, на руке остаются красные следы от ногтей.

Задергивает шторой окно, выходящее на дорогу.

— Вот ты и поднялся, как грозил, — подбоченясь, она приближается ко мне. — Что с тобой, столбняк напал? Скажи что-нибудь, хорошее или плохое!.. — шепчет она в самое ухо, обдавая меня знойным дыханием.

Лопается нить терпения, мои руки сами собой обнимают ее, она прикидается ко мне, погружая меня в белое пекло...

— Мужчина есть мужчина, это женщина проклята судьбой... Особенно, если одна... Все ночи горю в огне... Мужчина должен погасить его, мужчина, больше ничего не поможет, но... Тяжело одной, тяжело... Тебе этого не понять, ты еще желторотый, неоперившийся птенец, но ты должен знать... — шепчет она.

Спутавшиеся волосы попадают на губы, с которых стерлась помада, она стонет, прижимается, словно стремясь залезть в меня.

— Крепче обними, задуши, изломай, как ветку...

Что-то разом отрезвляет меня, слух проясняется — заплакал ребенок.

Руки мои падают, я поворачиваюсь к дверям.

— Подожди, куда ты?.. Я сейчас, — она наскоро запахивает халат, — сейчас...

В полуоткрытую дверь я вижу, как она опускается на колени перед люлькой.

Ребенок сосет, захлебываясь...

В окно смотрит ноябрьский сад. Словно заговорщики, склонились друг к другу старые груши, на бурой земле зелеными островками выделяется сохранившаяся местами трава... Утоптанная тропинка ведет к покосившейся уборной, завешенной вместо двери старым мешком.

Мне кажется, что прошла вечность.

«Что с ним, слон, что ли, у него в животе?!» — злюсь я, но тут же жалею ребенка, не сообразив сразу, отчего и почему...

— Уснул! — она притворяет за собой дверь.

Я не смею обернуться. Ее руки обжигают спину. И мама, и бабушка гладили меня, но это другое, странное, лишшающее сознания, размягчающее кости прикосновение... Я уже ничего не вижу, кроме цветной сетчатой шторы, слегка скрашивающей грустную картину осени, но потом и она расплывается...

Рука ее опустилась.

— Уходи, Дато, уходи... Еще, наверное, рано... Тебе не понять...

— Уйти?.. Ладно, хорошо! — в остолбенении бормочу я, понимая, что не смогу уйти, даже если перевернется земля, я шагу отсюда не сделаю, умру здесь, улечусь, испарюсь.

— Ты слышишь?

Я отрицательно качаю головой...

Она присела, передвинула на грудь сбившийся за спину крестик и попросила не смотреть на нее, пока она одевается.

Я распахнул окно. Мы без слов поняли друг друга — у меня не доставало решимости идти через комнату и видеть изжеванную соску.

— Подожди-ка! — она оглядела сад, но кроме нахолившихся кур и индюшек, там никого не было видно.

— Не думай обо мне плохо, Дато...

Пригнувшись, как вор, я пробежал по тропинке. И только перескочил через плетень, облегченно вздохнул.

Мне хотелось вспоминать все до мелочей.

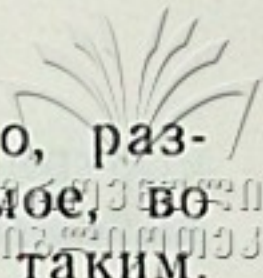
«Завела в комнату... Ребенок заплакал... Потом я оделся и вылез в окно». Те мгновения, которые сильнее всего хотелось оживить в памяти, были словно вырванные из книги страницы, а именно на них — я знал — рассказывался соблазнительный, захватывающий дух эпизод.

— Где ты пропадал? — недовольно спросила бабушка. — Где твоя сумка?

«Фу, совсем голову потерял, сумка-то осталась у Георгия».

— Мы с Георгием учили уроки, там и оставил.

«Как она смотрит, будто знает что-то. Может быть, смотрит, как всегда, а мне кажется?»



Странная печаль нахлынула на меня. Лицо, разглядывающее меня в зеркале, не похоже на мое, во всяком случае до сегодняшнего дня я не был таким. Все чужое — волосы, уши, нос, ввалившиеся глаза... Кто-то другой, вроде переодетого шпиона, вернулся домой вместо меня и таит, что я умер, когда вдыхал запах тлеющего бука.

Неужели эти часы или это радио, которое из-за повреждения линии больше молчит, чем говорит, всегда висели здесь? Может быть, линия ни при чем, оно просто думает, долго думает прежде, чем что-то сказать?

Бабушка поставила передо мной еду. Я с такой благодарностью взглянул на нее, словно в самом деле был гостем, неведомым, случайным путником, застигнутым в пути ночью, наобум постучавшимся в первый попавшийся дом и теперь с интересом разглядывающим новое место.

«Она производит впечатление боевой женщины, но, кажется, очень одинока. И гадать нечего, все перенесенное горе отпечаталось на лице... Не отпечаталось — высечено резцом. У нее, бедной, вся жизнь прошла на посту перед этими портретами... Интересно, кто они, сыновья, близкие? Как она выносит, как ей не страшно, что столько усопших всякий миг наблюдает за ней?..

Особенно эта женщина кажется знакомой. Почему при взгляде на нее у меня сжимается сердце? Где я встречал ее, а если встречал, как мог забыть?.. Хотя, когда она опускалась на колени перед колыбелью, я видел только ее подбородок да счастливые глаза — она кормила меня, растила, чтобы потом я, бездушный, забыл ее...»

«Тяжело одинокой, тяжело...» Ей тоже приходилось тяжело, только она не кричала об этом, не жаловалась, не роняла гребней из окна, а принесла себя в жертву мне и мучительному ожиданию...

Турпа, видимо, воображает, что все одинокие женщины только и ждут, чтобы сдаться!

«Эх, отец, отец, — мысленно упрекнул я, — тоска по тебе извела маму».

Я вздрогнул от этой мысли и посмотрел на мамин

портрет. «Не греши!.. Со мной все было кончено, когда судья огласил приговор, но никто, кроме твоего отца, не почувствовал этого... И ты не заметил, как постепенно нас засосали мысли, бездонные мысли, и нам некогда было горевать над своим одиночеством...

Нам с тобой выпало одно наказание, и виной ему был не твой отец, а равнодушные...»

«Может быть, ты скажешь, что были счастливы?»

«Мы горячо любили друг друга, особенно, когда нас разлучили».

«Я спрашиваю, были ли вы счастливы?»

«Мы думали одинаково, вместе заботились о тебе!»

«Я спрашиваю о другом».

«Одинокий человек мыкает большее горе».

«Да, но он же мог...»

«Каждый живет собственной совестью. Правда и честность поставили его лицом к лицу с Никала».

«Ты сказала — правда, почему же деревня набрала в рот воды?»

«У твоего отца чистые руки, чище, чем у новорожденного!»

Мама замолчала.

Одна гиря опустилась до отказа, вторая уперлась в самую горловину часов, не позволяя им дышать. Я опустил верхнюю, часы ожили, остановившееся время снова пошло своим путем...

Ручка сумки была теплой.

— Она плакала?

— Мне так хотелось надавать тебе, что я насилу сдержался, — Георгий сжал кулаки.

— Могло же случиться, что я разлюбил ее?..

— Тогда скажи прямо... На, она просила передать...

Что-то рухнуло во мне, я зашатался, Георгия тоже повело в сторону.

«Неужели землетрясение?» — бессмысленно уставился я в бумажки.

Это были записки, которые я посылал ей на уроках.

— Значит, все кончено? — невольно вылетело у меня.

— Да, сказала, что кончено... Не умолять же тебя.



— Позови, пусть выйдет на минутку.

Он отрицательно покачал головой и ушел.

«Лучше бы ударил», — взбешенный, я затолкал

записки в сумку и швырнул ее в коридор...

Темнеет, ветер шуршит в ворохе соломы. Вода из желоба с плеском разбивается о камень. Ручеек змеится вдоль плетня, с мягким журчанием таща за собой палые листья, огибая лужи и сворачивает к дому Турпы.

«Одинокому мужчине еще тяжелее».

На веранде никого не видно.

«Не переселились же они?!» Только взгляну, больше ничего... Она, наверняка, ненавидит меня, может быть, желает мне смерти... Может, жалеет, что вернула записки, смотрит в книгу и не видит букв, и частые капли слез усеивают страницы... Нет, будь это так, она выглянула бы... Хотя бы спросила, может быть, я сошел с ума!.. И теперь не покажется?»

Камень грохнул о железо ворот. Во дворе надрывается собака. Она у них все время на привязи и настолько озверела, что не подпускает к себе даже хозяев.

Выскочили все, кроме Тамрико и, конечно, Артемы.

Я спрятался за деревом.

Осмотрелись, никого не заметили, цыкнули на собаку — уймись ты!

Я поднял еще один камень и... разжал пальцы. Не знаю, то ли стыдно стало, то ли испугался, что не докину. Размяк, расслабился, не мог выпрямиться, точно горбатый.

Ручеек ползет вдоль плетней, минует сад хромого Миха и сворачивает к дому Турпы...

Я возвращаюсь с полдороги...

«Одинокому мужчине еще тяжелее».

«Кто более одинок, чем я?»

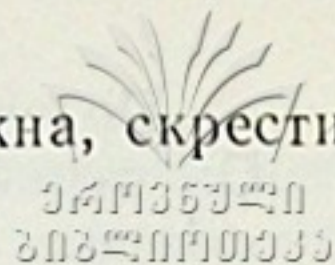
«Что ты знаешь об одиночестве? Я молю Бога, чтобы он не дал тебе испытать его».

«Я тоже его молил, чтобы он не отнимал тебя у меня, а что вышло?!»

«Спи, спи, это ночь виновата, ночами людей одолевают печали».

А у мамы все время ночь? — Холодная, жуткая, безлунная и беззвездная, как коридор той больницы...

Интересно, как те больные, что стояли у окна, скрестив на животе руки?



Палата № 26. Пять коек. Днем и ночью открыто окно. Иногда тянет ветерком, но все бессильно перед июльским пеклом и запахом лекарств. Да и что он может поделывать, когда стены, кровати, постели, бурая запыленная лампочка и даже тарелки, в которых приносят еду, пропитаны запахом больницы и лекарств.

Войдя сюда в первый раз и растерявшись от множества кроватей и любопытных взглядов больных, я не увидел маму.

— Я здесь, Дато!

Мама лежала в углу. Опершись о локоть, она смотрела на меня.

— Это мой сын! — мама обвела взглядом товарок. — Проходи, проходи!

Какая-то женщина, нагнувшись, задвинула тапочки под кровать, чтобы они не мешали мне в проходе.

Стыдясь поцеловать маму, я скованно присел и сжался.

— С таким сыном ничто не страшно! — похвалила меня та, что убрала тапочки.

Другие тоже что-то говорили, но я как оглох, не в силах оторвать взгляд от выпирающих ключиц мамы.

Она поправила широкий ворот рубашки и закрылась рукой, чтобы скрыть неестественную худобу.

— Я очень изменилась? — спросила она, будто ожидая от меня утешений.

— Ничего особенного... Потом так поправишься, что будешь мечтать похудеть.

— Ты бы видела, какая я была до операции — кожа да кости, — успокоила ее одна из женщин.

А я не мог выдавить из себя ни слова, не мог солгать.

Прятаться не стоило, мама опустила руку, широкий ворот снова обнажил жалкие ключицы.

Кто знает, что значили бы для нее несколько моих слов: «Все будет хорошо... Я так сильно люблю тебя, что немыслимо, чтобы ты умерла, исчезла, как огонь в догоревшей лампе, как унесенный ветром дым... Потому, что... Потому...» — это будет приходить мне

на ум потом, свербить потом, когда я останусь один, будто дом с обвалившейся стеной, а ворвавшиеся розы и тоска загонят меня в угол.

Никому не восстановить ту стену!..

«Спи, спи... И мне ночами бывало не по себе... Гони ночные думы, не то они обернутся привычкой, измучают, изведут тебя... Если тебе будет плохо, тогда я по-настоящему умру... Ты не имеешь права, слышишь, не имеешь права совсем убивать меня... Не надо, мой касатик, мой упрямый глупыш, не надо...»

«Почему ты до сих пор не разговаривала со мной?»

«Я ждала, когда тебе станет жалко не только потерянную мать, но и человека, который, убаюкав тебя, домашними хлопотами убивал свое одиночество, который в одиночку боролся с кромешными лавинами ночей и стачивался, как оселок...»

Прикосновение маминой руки было настолько явственным, что я открыл глаза.

Склонившись над квашней, бабушка месила тесто.

Я присел, воображая, что мне снится.

— Рано еще, только что первый петух пропел.

«Когда она отдыхает?» — промелькнуло в голове, и я поймал себя на мысли, что до сегодняшнего дня не задумывался об этом.

Окончание следует

Перевод В. ФЕДОРОВА-ЦИКЛАУРИ



Миниатюры

Из цикла „Осколки зеркала“

Знание и незнание

Где тот, кто знает, что сегодня мне не следует выходить из дому? Или не следует вырезать слепую кишку? Или же нужно вырезать ее именно сейчас, сегодня же вечером, или через три дня?

Уж сколько времени жду его прихода: я ведь ничего не знаю наверняка. Каждый шаг — наугад, вслепую нащупываю подвижные перила жизни, в глазах — то слезы, то зола: туманом покрыты все очертания. Очевидны лишь страх да боль.

И вот наконец сбылось так отчаянно, так долго желаемое: явился мне мудрый советчик. Медленно поднял вверх правую руку (ветер чуть шевелил его белые волосы), посмотрел мне прямо в глаза и тихо и отчетливо произнес: — Не делай этого, это роковая ошибка.

Я в тот же миг поверила ему. Преисполнилась веры. Как прекрасны доверие и уверенность! И ясность!

Но сейчас, проснувшись, не могу вспомнить, что он имел в виду. Лежу и думаю: что же будет сегодня для меня роковой ошибкой, чего я не должна сделать? Не вставать? Не отправлять уже написанного письма? Не зажигать света? Не открывать крана? Не встречаться с другом? Не ходить на кладбище? Или не записывать этого сна и не запоминать его слов?

И боюсь сделать шаг...

Собственное имя



Почему так пугает меня внезапный оклик? Сердце так и подпрыгнет в груди: словно меня вдруг оголили или внезапно набросили на голову сачок.

Когда я слышу собственное имя, меня охватывают неловкость, оцепенение и одиночество. Словно кто-то не пощадил, предал...

Что-то холодное и неприятное растекается по всему моему существу... стоит прозвучать пяти звукам, обозначающим имя. Оно причиняет мне боль. Возможно, потому, что в действительности я безымяниа.

Глаза мои никогда не читают имя мое в газетах, журналах, на обложках книг и на конвертах: всегда пропускаю его. На двери нет таблички с моим именем.

Вот уж тридцать пять лет хожу по этой земле и ношу это имя, но так и не привыкла к нему, как не привыкла к земле...

Может, имя — это тайна, его не следует произносить вслух, и знать его должен лишь один, самый близкий, да еще Бог? Все же остальные пусть зовут тебя; дочь, мама, тетя, сестра, подруга или просто: человек?

Когда бывало он, самый близкий, произносил мое имя, дрожь пробегала по телу и охватывала покорность — точно он касался губами меня, или моей души, или моей жизни, или смерти моей...

Высеченное на базальтовом камне, имя мое не причинит мне больше беспокойства. Оно будет свободно от меня, мы будем свободны друг от друга.

Оно — навечно погребено в сером камне, я — под ним, в земле, душа же моя будет витать где-то в пространстве, избавленная от нас, как парус, оторвавшийся от лодки. Виновь соединимся лишь в чьей-то памяти, затем снова отдалит нас друг от друга темная река забвения, и не свяжет больше ничья мысль.

Дом

Стою посреди комнаты и смотрю на потолок: углы принадлежат паукам. Один затаился в самой сере-

дине солнцеподобной сети. Второй ткёт, качается на нитке, третий, кажется, за малышом ухаживает.

Я не знаю, кому принадлежит этот дом — мне или им, или, может, той деловитой группе муравьев, что завладела сегодня блюдцем с вареньем, или обитающей в невидимой норке мышке, присутствие которой выдает тихое попискивание, или, может, моли, выпархивающей из шкафа и из комода, или нескладному черному жуку, по ночам выползающему из-под ванны, или же этому незнакомому белому цветку, распустившемуся в комнате дочери?

Они делают вид, что не замечают моего существования, пренебрегают мною... На самом же деле только и ждут, чтобы я ушла из дому. Вот когда, наверно, наступает раздолье для мышки, свободно разгуливает тогда она в освободившемся пространстве, может, даже валяется на моей постели...

Очевидно и обидно — я мешаю, я лишняя, они боятся меня... А вообще-то они, мне кажется, прекрасно чувствуют мою внутреннюю несправедливость. Не люблю открывать дверь ключом, поскольку этот жест выражает право хозяина, — я же признаю, что все здесь принадлежит другим, а я — посторонняя...

Их единение против меня нарушает, кажется, только цветок. Чувствую, что ждет он меня, и не только потому, что хочет пить... Хочется ему, чтобы я постояла возле него, подумала о нем, иногда поговорила. Ему скучно, когда меня нет дома, и скука эта в глазах остальных обитателей, наверно, выглядит предательством.

Стою и смотрю вверх, на пауков. Они всячески дают мне понять, что я не существую или что я лишняя. Я не осуждаю их, но сегодня — день большого предательства с моей стороны. Сегодня приходит моя мать: живое воплощение права и долга. Она должна привести в порядок принадлежащее дочери пространство. Начинается чистка. Последние дни перед Новым годом. Гигантской вспомогательной силой становится она на мою сторону, и мне стыдно. Но мое существование — постоянный источник ее стыда и страданий. Она измучена тем, что я такая, и принуждает меня жить в келье, сотканной на остриях упреков. Она имеет пра-

во быть недовольной и пронзать меня стрелами обличения хотя бы потому, что квартиру, в которой живу, приходится убирать ей. Все это исключает возможность какого-либо сопротивления с моей стороны. Всякий мой протест против покушения на моих сообитателей будет воспринят как неслыханное вероломство, — и я малодушно покидаю поле боя.

И обрушивается на обитателей моей квартиры день Страшного суда. Ложатся на стены темные тени ангелов Апокалипсиса, силуэты их труб. Поднимется моя седовласая мать, словно гневное божество... Материнские руки, пытающиеся защитить здоровье и жизнь дочери, то мощно вскинут щетку к потолку, то запихнут ее под ванну.

Я покидаю дом, ухожу, разумеется, неизвестно куда. Жаль, что они боялись и ненавидели меня... Мышонку, наверно, ничего не сделается. Встают перед глазами не виденные мной, крохотные, круглые, черно-пречерные глазенки, застывшие от страха. Новый год, наверно, встретим вместе: он — внизу, в преисподней моей квартиры, я — посередине, а наверху — потолок с обломками воздушного города и следами кровавой бойни. Бойни ради отвоевания пространства, обладанием которого я себя не утруждаю...

Черные туфли

Снова приснились черные мужские туфли. Стала ждать смерти кого-то из знакомых.

Два дня спустя скончался брат товарища.

Тяжелые черные туфли. Тупоносые и старомодные. (Впрочем, мода возвращается, и старое становится новым).

Почему Смерть выбирает именно эти туфли для моих снов?

Постоянно думала об этом и не могла понять.

Однажды достала с чердака старый потертый гобелен, гобелен моего детства, что висел возле моей кровати. Мой взгляд, прежде чем его поглощал сон, терялся в его красках... На нем возле хижины стоит ребенок, перед хижинкой — ручей, видны деревья и неизвестная птица на крыше хижины.

Повесила над кроватью... И сейчас тоже... взгляд мой перед сном растворяется в его дымчатых цветах.

Через несколько дней вспомнила: было мне тогда три. Бабушка надела чихтикопи¹, приколола к ней золотую булавку, оправила тяжелое черное платье и вышла в сад. Не спеша нарвала темно-красные георгины, ноготки и другие пестрые цветы, в изобилии растущие в деревенских дворах. Взяла меня за руку. И мы пошли...

В комнате, куда мы вошли, стоял тяжелый полумрак. У гроба сидели женщины в черном. Но я не знала, что это был гроб, и до того дня не видела мертвых.

Людей я не запомнила.

Запомнила острый смешанный запах цветов, тяжелую пестроту запахов и красок, не заглушаемую полумраком комнаты...

Совершенно бесчувственно, с холодным любопытством приблизилась к громоздившейся на кушетке тяжелой, неподвижной массе, покрытой зеленоватым крепсатином и обложенной цветами.

Кушетка была застелена ярким узорчатым ковром. Резкая пестрота ковра, цветов и запахов, ужасным образом смешавшихся в моем восприятии, почему-то мучила меня. Раздраженная, обходила я кушетку. Вдруг остановилась у совсем новых черных туфель, никогда прежде не виденных мной в таком положении: они торчали носками кверху, прижатые друг к другу. Их однозначная, совершенная чернота и неподвижность принесли мне, оглушенной этой смесью красок и запахов, облегчение. Меня обрадовало, что блестящая зеленоватая ткань не покрывала туфли. Долго смотрела на них. Потрогала блестящий каблук. Потом решила проверить, со шнурками они или без. Взялась за носок и слегка потянула на себя. Движение, с которым туфля поддавалась мне, было каким-то покорным, беспомощным и в то же время упрямым. Ухватила за конец черного шнурка и... тут кто-то грубо схватил меня за плечо и оттащил в сторону.

¹ Чихтикопи (груз.) — традиционный женский головной убор.

Какая-то женщина в черном появилась в открытой двери и закричала: «Ты пришла, о, смерть?!»

Я не поняла, кто пришел. Никто, кроме нее, в ту минуту в комнату не входил, и было неясно, кому она кричала: «Пришла?!» и почему кричала?

Стала оглядываться по сторонам. Потом вся эта непонятность мне надоела, и я выбежала во двор.

И вот много-много лет спустя, когда случай этот совсем стерся из моей памяти, эти туфли однажды всплыли в моем сне... И с тех пор, снясь, предвещали чью-либо смерть.

Стоят себе: то перед погасшим камином, то возле кресла, то на подоконнике открытого окна... Где им вздумается, там и стоят, кто может им помешать...

Стоят тихо, безобидно, вроде бы просто так, вроде бы сами по себе.

Хочешь — догадывайся, не хочешь — не надо, никто тебя не неволит...

То, что должно прийти, все равно придет.

Незримое творчество

Зачем мучаюсь, зачем придумываю?! Зачем мне этот вымысел? Богаче всего я снами.

Достаточно записать мои сны — и получится большое, удивительное творчество. Только чье — не знаю, и какой эпохи...

Впервые

Ребенок впервые пошел и ухватился рукой за крохотное вишневое деревце. Деревце качается — оно впервые зацвело в этом году, впервые дало плоды: в листве на солнце горят три красные вишни. Ребенок смотрит на них: сверкают шесть белых зубиков.

Картинка



И ижировое дерево у стены старого храма. Солнце и полдень вычертили его на стене храма. В просвете меж тенями двух листьев растянулась на солнце пестрая гусеница. Подует ветерок, тень качнется и накроет ей головку. Сожмется и скользнет она по древнему камню храма. Избегает тени, ищет солнца.

Радость


О если б не быть нам больше ни матерями, ни отцами, ни женами, ни мужьями, ни любовниками. Не желать друг друга желаньем взрослых. Стать бы нам всем детьми малыми и подбежать к нашим же детям... Те же, кем были мы, пристыженные и посрамленные, обратятся пусть в куклы-игрушки. Тихо усыпим этих кукол мы, дети: укутаем в толстые одеяла, притворим за собой городские двери и убежим все вместе в луга...

Дождь стекает нам на глаза... О, радость! Только лишь так она возвращается, таким вот образом: звездная, прохладная, детская.

Свобода

Вот какой она явилась мне:

Я: со своим ребенком, которому год, три или шесть. Хлопочу над ним, на мне розовое платье. Мы так любим друг друга, мы вместе! Никуда не спешу, целиком принадлежу ему. Комната освещена солнцем, в глазах у меня тоже свет. Только что накормила его. Любовно, нежно, неторопливо (из одних здоровых овощей) приготовленной пищей, полезной и необходимой. Праведно исполненный долг наполняет меня безбрежным блаженством и светом. Теперь сижу возле него и читаю ему книгу. Потом поведу его гулять, в парк. Буду рассказывать о травах и птицах. Его легкие наполнятся чистым воздухом. Целиком принадлежу ему, не жалею себя для его здоровья и радости. Какое это счастье — жить праведно.



Я: с дорогим мне человеком. Он устал. К его приходу приготовила его любимое блюдо. Мясное и сытное. Зелень. Вино. Накормила. Теперь он лежит и беседует со мной. Вся обращена в слух. На мне голубое платье. Вереницу тяжелых, усталых слов встречаю улыбкой. Подбиваю утешение подкладкой нежности. Осторожно. За весь день не присела, но усталой себя не чувствую. Вся целиком с ним, целиком принадлежу ему. Осторожно провожу рукой по виску, ласкаю его.

Я: поправляю матери подушку. Глажу по голове. Она больна. Готовлю ей легкую еду, жидкую, без мяса — такую, что полезна больному. Со стоном высказываемые упреки встречаю лаской. Кладу на дряблую губу белую таблетку, подношу воду. Люблю. Потом сижу рядом и слушаю, слушаю — ее мысли вслух, ее воспоминания: о нашем детстве, об отце, об отправленных и неотправленных письмах, о ее родителях, о ее детстве, о детстве ее матери... Целиком принадлежу ей, вся обращена в слух, не отойду от нее: во мне, как в копилке, должны остаться ее слова, воспоминания. Потом опять лекарство, умывание, кормление, лекарство и устройство на ночь. Какое счастье жить праведно. Целиком отдаваться близкому. Ночью стерегу ее тяжелый сон, то и дело испарываемый темным храпом.

Я: со своим братом. У него день рождения. Мы все здесь. Помогаю невестке. Сную как челнок. Покрываю стол скатертью, ставлю стулья, тарелки, стаканы, вилки. Брат радуется. Горд тем, что и сестра с ним. Не отойду от него. Не оставляю одного с гостями. Буду рядом. Потом уберем со стола. Все вычистим, вымоем, потом сядем, и он расскажет мне то, что не расскажет никому, кроме сестры. Никуда не спешу. Вся целиком с ним. Когда бываю нужна ему, тотчас оказываюсь рядом, не заставляю себя ждать. В детстве обреза́ла ему ногти, стригла волосы и очень боялась задеть темные родинки на затылке под волосами... Мыла ему руки и читала книги.

Я: отправляю письмо и посылку другому брату. Еженедельно. Не забываю. Письмо сердечное, подробное, полное тепла и утешения, светом озарит оно каждый изгиб его души, наполнит бодростью. Детям его ношу подарки и книги. Беседую с ними. Вожу в театр.

Я: на могиле отца. Заказала в церкви еще один молебен. За упокой его души, за отпущение грехов. Чтоб ему свободно леталось. Окропила освященной водой весеннюю землю. Зажигаю свечу у мрамора, поливаю розы, разрыхляю землю. Сверкает отцовская могила под заботливыми руками дочери.

Я: еду с подругой в далекий город. Вместе одолеем трудный путь, и я буду повторять ей: не бойся, друг мой, я с тобой, прислонись ко мне. Не бойся, друг мой, позади останется холодная зима, ураганы выбьются из сил и осушит солнце наши слезы.

Я: сижу у стола. В руке — перо, на столе — бумага. Я одержима. Я должна вся перелиться в бумагу, кровью излиться, свечой расплавиться, истечь слезами... Денно и ночью быть здесь, не отходить, не отвлекаться, не рассеиваться... Слова, слова, образы... Каторжный труд, монашеское терпение, неотложный, тяжкий труд земледельца... Не светит над тобой ни луна, ни свеча... Труд требует тебя всю, без остатка, ты нужна вся целиком, каждой частичкой своего существа, только посмей уклониться — в тот же миг твердь превратится в дупло, в наполненный водой и воздухом волдырь.

Излейся, ничего не оставляй себе, отдай себя.

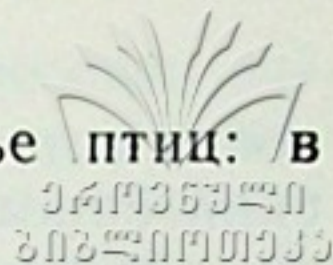
И я: вижу все это, вижу всех и вся, и в то же время иду. О, счастье, облегченный воздух и распрямление крыльев! Всем раздала себя, поделила себя меж всеми, всем оставила. Я есть у всех... Я со всеми — и я совершенно одна. Свободна!

Иду: одетая в оленью шкуру, обутая в сандалии! В котомке у меня сухие ягоды, вокруг — лес моего одиночества, вдали — поля и луга моего сердца... В гору ведет моя тропинка, легка, как ветер, моя поступь! С распушенными волосами и распростертыми руками встречаю горный ветер. Люблю тебя, ветер, неси меня, куда хочешь, — не стану смотреть на звезды и запоминать дорогу. Впереди — мои новые грехи, мои случайности, моя беспечность и воля — твоя и моя. Позади — долг — исполненный! И все это не «тогда и теперь», не «до и после», — а одновременно!

Я — у всех!

Я — ничья! Я своя — для ветра и дороги!

Слышится рев зверя, плеск воды, пенье птиц: / В
лесу моей души.
Иду, лечу!



С луны

Лежу на Луне. На краю Луны. Лежу ничком, опираюсь на локти.

Вот и Земля.

Здесь, на Луне, обитают старые духи, а может быть, и новые. Они мечутся где-то у меня за спиной, сердятся и говорят: «Не смотри!»

Я их не слушаю. Я ведь не вмешиваюсь в их дела.

Вот и Земля.

Не обращаю внимания на горы, вершины, моря, океаны, города, небоскребы.

Вижу: порезанный палец ребенка, слезу, готовую сорваться с ресницы, глубокую, как борозда в поле, морщину у чьего-то глаза, вздутые вены на чьих-то икрах, мертвую птичку на заледеневшей земле, посох в чьей-то руке, смиренные, неосуждающие глаза голодной собаки, маленький гробик, ланцет под желтым светом, скользящий по обнаженной коже, оставшиеся приоткрытыми беспомощные губы, с застывшими вдруг на них словами, уродливую желтую пригоршню — усталую медяками, скрюченные пальцы умирающего, влажные, облепленные мухами глаза коровы.

Духи у меня за спиной сердятся: «Не смотри».

Я их не слушаю.

Огромные крылья забились вдруг предо мной, заслонив Землю, на Луну опустился белый ангел. Духи притихли.

— Спой о великих вещах и делах, — сказал мне белый ангел.

— Тех, кто воздвиг храмы, я не знаю, не видела, не встречала. Тех, кто свершил великие дела, не знаю, не знаю, как они жили. Глаза мои заполнены малостью, которая для меня так велика, что не умещается во вселенной... Видишь порезанный палец или набитый солью крохотный полотняный мешочек у больного уха... Как быть с ними?.. Как могу я петь о великих вещах,



когда вон, видишь, на берегу озера чернеет в песке детский башмачок — сбивает меня с толку, и не могу найти объяснения, или вон хлеб для воробьев, который трижды одарили поцелуем, прежде чем положить на изгородь.

Опечалился и улетел: как ураган. Заразился моей печалью. Смотрю вниз. Вон мое окно. Горит свет. Там, наверно, я сижу и пишу. Или, может, давно никто не живет — просто не выключили свет...

Зеленая калитка

Вон там видите зеленую калитку? Да-да, пятый двор отсюда... — объяснил мастеривший у изгороди скамейку пожилой мужчина незнакомцу лет сорока с саквояжем в одной руке и с сигаретой в другой. «Видно, не совсем новичок в наших краях, — размышлял он про себя, продолжая колотить молотком. — Где-то здесь, говорит, должны жить, а сам по сторонам озирается, словно пытается вспомнить. Наверно, бывал здесь когда-то. Прежде ведь это был пригород, и стояло здесь всего несколько частных домов, теперь же вон весь район такими домами застроился. Попробуй тут найди. А их дом здесь, кажется, едва ли не самый старый».

В соседнем дворе, нежась в лучах заходящего октябрьского солнца, полулежала в плетеном кресле молодая женщина. Она подняла голову, прислушалась к разговору мужчин, встала, положила раскрытую книгу обложкой кверху на кресло, подошла к калитке и, приоткрыв ее, оказалась лицом к лицу с незнакомцем, на ходу рассеянно скользнувшим по ней взглядом. Интересно, кто он такой, думала женщина, провожая взглядом мужчину, направлявшегося к указанному дому, потом вернулась, взяла в руки книгу, но читать не стала... Мысленно последовала к зеленой калитке за незнакомцем, взгляд которого так странно взволновал ее...

То ли молодая женщина просто не привыкла к столь равнодушным взглядам, то ли чтение книги настроило ее таким образом, но в этот осенний вечер она ожидала от внезапно появившегося у ее засаженного разноцветными астрами двора незнакомца чего-то сов-

сем много: необычного вопроса, интересной беседы, хотя бы минутного внимания... Словом, чего-то такого, что отличило бы этот вечер от других вечеров, сделало бы его хоть немного похожим на истории из книги... К тому же откуда-то доносились звуки гитары... Так или иначе, женщина чувствовала себя разочарованной. Встала, поднялась по лестнице на веранду и оттуда выглянула на улицу. Человек стоял перед зеленой калиткой. «Интересно, чего он ждет, ведь наверняка открыто», — подумала женщина, но в это время зазвонил телефон, и она поспешила в дом.

Незнакомец стоял и курил. Наконец он бросил окурок и отворил калитку, закрывшуюся за ним двадцать лет назад. Медленно направился по тропинке к дому, разглядывая двор. Все было вроде знакомо, только все состарилось — и деревья, и лестница, и дом. Сухое айвовое дерево продолжало цепляться за жизнь последней зеленой веткой, с трудом удерживавшей единственный тяжелый темно-желтый плод. Воздух был напоен ароматом айвы и влажной травы. Собака, конечно, давно сдохла. Собаки так долго не живут. Это только там, в той старой книге, что читала ему в детстве тетя, — в книге про богатого молодого римлянина, ради веры покинувшего семью и прошедшего в пустыне семнадцать лет, — там прожила собака так долго. И когда отшельник наконец вернулся, то его узнала только старая собака. Впрочем, это могла быть собака из какой-либо другой истории о возвращении... Чоба же, наверняка, давно умерла. И очень хорошо. Он не любил ни встреч, ни прощаний. И уходить, и возвращаться лучше неожиданно, незаметно, даже через двадцать лет. Чтобы тебя спокойно, между прочим, спросили: «Пришел?». И продолжали заниматься своими делами, предоставив тебя самому себе. Не смог унять сердцебиения. Почувствовал даже головокружение и опустился на лежащее у дорожки бревно. Дома явно никого нет. Дверь на веранде закрыта. И на калитке проволока была намотана. Так даже лучше. Успеет перевести дух...

На горé все так же виднелись сложенное из кирпича водохранилище и два одинаковых кипариса. Кипарисы сильно вытянулись. Больше, наверно, и не вырастут. Он так любил бродить там в одиночестве. Ловил

греющихся на солнце ящериц... Один раз даже поймал скорпиона, посадил в стеклянную баночку и подолгу разглядывал. А мама взяла да и раздавила его в подсолнечном масле: это, дескать, лекарство, лечит от его же укусов. Он тогда чуть с ума не сошел: «Зачем, зачем ты взяла моего скорпиона, зачем убила его!» — кричал он. «Молчи, раз ничего не понимаешь, — сказала мать, — ты что, не слышал, что скорпионы не выносят неволи, он все равно убил бы себя сам». «Ну и пусть бы сам себя убил, зачем ты его раздавила в этом твоём масле?» — не унимался он. А потом все размышлял над тем, как скорпион должен был убить сам себя. Интересовало его также, действительно ли это масло может вылечить от укуса скорпиона. Долго потом искал скорпионов на горе под камнями, но так и не нашёл... Любил он подолгу, до темноты сидеть под кипарисами и смотреть сверху на дома, на улицы, на свой двор. Наблюдать за тем, как двигались маленькие фигурки родных: мама развешивала белье, отец выносил собаке похлебку, бабушка долго стояла на веранде, опираясь на перила. Потом она спускалась во двор, подбирала опавшие яблоки. А отец поднимался на веранду. Маму окликала соседская девочка... Потом все медленно погружалось во мрак, и на веранде зажигали свет... А он все сидел, постепенно свыкаясь с той непонятной болью, которая почему-то овладевает человеком, когда он смотрит на родных издали.

Его, конечно, не узнают... Миллион раз представлял он себе, как войдет... Ему даже уже надоело столько раз входить... Он готов был выдержать все: расширенные в изумлении глаза, побледневшие лица, дрожащие руки, слезы, обмороки, поцелуи, объятия — это неизбежное смятение... Успокоятся же они в конце концов. А то, что должно было последовать за всем этим, он надеялся, не потребует от него чрезмерных усилий...

Вернулся он не потому, что его, как в таких случаях говорят, что-то позвало. Во всяком случае, сам он этого зова не слышал. Просто устал. А уставшему человеку лучше вернуться домой. Собаки, чувствуя приближение смерти, уходят из дому (интересно, наша Чоба тоже ушла?), человеку же обычно хочется умереть дома... Хотя, как знать... Просто ему так кажется, а

впрочем, откуда ему знать, почему он вернулся. К тому же, в отличие от собаки, человек ведь может умереть задолго до собственной смерти... А того римлянина, интересно, что заставило покинуть пустыню, что позвало назад, ведь там, в тиши и уединении, он приобрелся к истине, там он был так близок к Богу — и все же не выдержал. Говорят, все возвращаются. Сколько раз доводилось ему читать и слышать: все в конце концов возвращаются туда, откуда ушли. Но его всегда раздражали подобные, претендующие на вечные истины, сентенции. Сам он не намеревался преодолевать ни одной ступеньки на этой общей лестнице, но вот и он тоже вернулся, подобно всем ушедшим. То, что сможет обходиться безо всех, — это он как будто знал уже тогда, когда уходил: он мог любить только на расстоянии, если, конечно, это можно было назвать любовью... Сколько раз в детстве прятался он на крыше, чтобы потом крикнуть сверху обессиленным от поисков и отчаяния родителям: «Ку-ка-ре-ку!» Не тем же ли было и его бегство, и двадцатилетнее отсутствие — беспечно-детской, сумасбродной и жестокой игрой, нарушением правил, бунтом, упрямством, перехватывающей дыхание неожиданностью. Ведь любил же он видеть затем их освещенные радостью лица... Впрочем, теперь он наперед ненавидел любой эффект конца, и если существовали чудеса, то он желал лишь одного чуда — чтобы остались незамеченными и его уход, и возвращение.

Он сидел, курил и смотрел на дом. Всю боковую стену обвил плющ, пропустив только окно посередине, под которым рос усыпанный спеющими плодами куст шиповника. Когда отдалили его от этого дома годы, когда дом этот глубоко погрузился в прошлое и окончательно затерялся в нем, — тогда поселился он в его сновидениях... И не только этот дом, а все дома и все комнаты, где пришлось ему хотя бы недолго пожить в детстве. Маленькая двухкомнатная квартирка тети с узкими, длинными окнами и выцветшими обоями в желтых розочках, каждая из которых была заключена в зеленый кружочек, их старая квартира с общим безлико-серым коридором и с такой же бесцветной кухней... Все эти комнаты не давали ему покоя, и тогда он понял, что все простое и обыденное, переключивая в про-

шное, неизбежно обретае страшную таинственность, из прошлого проникает в сновидения и навсегда обосновывается в них. Во сне он видел такие мелочи, на которые в жизни не обращал внимания и которых вроде и не помнил: бабушкины старые черные ножницы, покрытый пятнами осколок зеркала, пестрый галстук и черный костыль отца, кизилово-красную сумочку матери с выглядывающим из нее уголком носового платка. Все это заселившее его сновидения старье лишь угнетало его, наполняло душу невыносимой тоской, никогда не помогало. Да и с какой стати оно должно было ему помогать?

Давно ушло то время: «Виднеется что-то размером с муху... Брось расческу!», «Виднеется что-то размером с птичку... Брось зеркало!» А теперь? Что ты можешь бросить назад, через плечо, чтобы впереди открылась дорога? Чтобы остановить или хотя бы замедлить со свистом мчащиеся за тобой полчища минут и дней, лиц и предметов? Кому еще ведом их язык? Наверно, если не расставаться с предметами, не покидать их, они и не будут преследовать тебя в сновидениях, не будут тревожить. Ведь вещи, которые окружали его в настоящем, почти никогда не являлись ему во сне, а если он и видел их, тут же забывал — они не производили на него впечатления. А как мог не производить впечатления этот дом, у которого было такое лицо, да, именно лицо, точно он, дом, знает нечто, неведомое ему, хозяину дома и снов. Этот дом знал, что в конце концов, рано или поздно, их встреча обязательно состоится...

А, к черту! Откуда ему знать, почему он ушел! Взят да и ушел. Захотел и исчез. Он, наверно, всегда был беспощадным. Своенравным. Любил все делать наперекор. К тому же был ужасным непоседой. Не мог подолгу оставаться на одном месте: начинал задыхаться, испытывал потребность в каких-либо переменах, происшествиях. В чем-либо необычном. Хотелось заблудиться, потеряться, остаться одному, чтобы не ощущать на себе ничьей ни ненависти, ни любви, ни надежд, ни ожиданий... Он прихватил с собой тогда ключ от дома, перочинный нож и еще какие-то мелочи. Нигде подолгу не задерживаясь, переезжая из города в город и ос-

танавливаясь то в гостиницах, то на частных квартирах, он постепенно, один за другим терял эти предметы. Но ключ почему-то уцелел. Интересно, вышло это случайно или он, не собираясь возвращаться домой, все же подсознательно хранил его?

Носком ботинка раздавил окурок, открыл саквояж, пошарил в нем, достал ключ и задумчиво уставился на него: «Если замок не сменили, я могу войти в дом. А может, лучше здесь подождать?»

— Стариков дожидаетесь? — окликнул его из соседнего двора мужчина средних лет, читавший газету на скамейке под деревом.

Вздрогнул. Встал.

— Да.

— Не скоро вернутся. На могилу к сыну пошли, — мужчина перевернул страницу газеты.

— Сына? Какого сына? — снова медленно опустился на бревно.


— Не знаете? Один у них был сын. Ушел из дому. Они долго его искали. А лет десять спустя кто-то привез им из другого города весть, что он утонул то ли в озере, то ли еще где. И одежду привез. К тому времени и мы уже здесь жили... Что было делать? Взяли они да и похоронили его одежду, вы, наверно, слышали, что так делают... и сделали могилку. А как же иначе? Без могилы трудно.

«Кому трудно, покойнику или родным?», — про себя подумал он. Сосед между тем сложил газету, положил ее на скамейку, сверху положил очки и подошел к низкой изгороди.

— Каждый вечер на кладбище ходят. А что им еще делать? За могилкой ухаживают, цветы поливают. Сидят там, отдыхают. Там прохладно. Свежий воздух. Да и кладбище тут рядом, далеко ходить не надо. Видите водохранилище? Вон там, под горой... Да-да-да... Для них это даже полезно... Что еще осталось им в жизни? Ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь... Вы их дожидаетесь, да?

— Дождусь.

Итак, значит, я мертв. Черт знает что такое! Только этого мне не хватало. Но ведь когда от человека нет вестей, обычно не верят, что он умер. Ждут. Впрочем,



он ведь сказал, что им принесли весть о моей смерти. В каком же это я, интересно, озере утонул? Подумал, подумал и вспомнил. Наверняка там... Он тогда оставил на пляже одежду, переплыл озеро и выбрался на другой берег. Пошел по ведущей к лесу тропинке и наткнулся на нее... Она собирала там какие-то травы... Как же ее звали?.. Лулу... Лили... Да, Лили. Нет, Лулу. Дочь лесничего, по профессии ботаник. У нее были чудные, длинные, рассыпанные по спине каштановые волосы и такие удивительные серебристые глаза, что он, конечно, и думать забыл об оставленной на пляже одежде. Они вместе вошли в хижину лесничего и, кажется, целый месяц оттуда не выходили. Она сама съездила в город и привезла его вещи... Но потом его снова охватило беспокойство, как это обычно с ним бывало, душа заныла, застонала, он не находил себе места и однажды лунной ночью собрал свои пожитки, поцеловал спящую в шею, возле уха, постоял, посмотрел на нее — и был таков. Всю жизнь терпеть не мог всякие письма, записки, объяснения. На сердце было нестерпимо тяжело, но к тому времени он уже научился справляться с собственным ноющим сердцем, как мальчишкой — управлять с конем, заставляя его брать препятствия. Запретил себе думать о том, как она проснется и станет искать и звать его. Запретил — и не думал. Но ведь боль проникала не только посредством мыслей. Лазеек у нее было видимо-невидимо. Но он не думал — и все. Уходил и забывал. Мастером стал по части забвения. Ну да, тогда, на пляже, наверно, и решили, что он утонул. А что еще можно было предположить? Переплывать озеро было, во-первых, запрещено, а во-вторых, практически невозможно из-за очень большой его величины. Видимо, там, на пляже, оказался кто-то из знакомых. А может, какой документ остался в кармане... Откуда было взяться знакомым-то в тех отдаленных местах?.. Хотя кто знает... Во всяком случае, прошел такой слух... Словом, он — покойник, причем лежит на дне озера и, наверно, уже давно сгнил... Ну конечно, от него уже давно один скелет остался... и в нем снуют рыбешки... Вот один малек скользнул в глазницу, а выплыл из ушного отверстия. При этой мысли у него вдруг зачесалось ухо и стало очень обидно, что его ос-

тавили там, в чужом городе, на дне чужого озера. Мороз пробежал по коже. Нет, в земле, конечно, лучше. Теплее. Попытался устроиться в земле. Но не успел сложить на груди руки и закрыть глаза, как прямо на лицо с журчанием потекла вода... Черт побери! Нигде нет покоя! Поливают и поливают эти розы!. Его мать всегда обожала розы... эти кирпично-красные розы... Достал из кармана черного отутюженного костюма (наконец-то он одет по их вкусу!) белоснежный крахмальный платок и попытался вытереть лицо. Но куда там! Деревянная крышка гроба не дала ему такой возможности. А он и забыл о ней! Нет, лучше уж лежать прямо в земле... Но вот что-то медленно, крадучись стало подбираться к его шее, к груди... Это не женские пальцы, нет, это корни. Разросшиеся и окрепшие от ухода и непрерывного полива розы добрались до него. Фу! Пропадите вы пропадом! Выскочил сначала из могилы, потом соскочил с бревна и направился к дому.

Поднялся по низенькой лесенке, зашел на веранду и остановился у двери, ведущей в дом. В нерешительности взглянул на ключ в руке. Вставил его в скважину. Замок был все тот же. Заскрежетал и открылся. У самой двери стояли две пары стоптанных домашних тапочек, побольше и поменьше. Входя в дом и видя их, он обычно понимал, что родителей нет дома. Постоял в полутемном коридоре, пытаясь вспомнить, где выключатель. Вспомнил! (Благодаря снам). Справа на стене... У самой вешалки. Отодвинул старенький байковый халатик, и показался черный выключатель. Включать свет не стал. Прошел коридор, подошел к двери слева и медленно отворил ее: это была его комната... Наткнулся на неприветливый взгляд красивого лохматого парня в полосатой майке, смотревшего на него с огромной фотографии, и на мгновение застыл на пороге... Потом обвел взглядом комнату. На письменном столе стояла увеличенная фотография, а перед ней — астры в воде. На этом снимке парень стоял на перилах веранды, устремив взгляд куда-то вверх и заложив в рот два пальца. Это он свистел голубям. Голубей на фотографии не было видно. У изголовья кровати, на большой фотографии без рамки, тот же парень улыбался, сидя верхом на вздыбленной лошади... «Какая

честь для лошади... Не всякая удостоивается такой че-
сти — увеличенной фотографии...» Он пристально ^{взглянул} ^{в глаза} ^{парню} ^{прямо} ^в ^{глаза}, но тот не уступал; ^{взгляд} ^{был} ^{упрямый}... и словно запрещал ему входить... Да, таким он и был тогда. И тогда никого не впускал... в душу. Близко не подпускал. А теперь вот даже самого себя...

Увеличить фотографию больше уже невозможно. Здорово постарались. Видимо, так давали выход горю. Увеличивали и увеличивали фотографии. Увеличенное детство. Крупным планом. А подумали ли они хоть раз о том, почему он умер? Ведь умер он потому, что ушел отсюда. На это у них вряд ли нашлось время. Столько дел сразу появилось...

И фотографии, где он изображен совсем маленьким, пожелтевшие фотографии самых разных размеров, тоже рядами развешены на стенах, выставлены за стеклом книжных полок, под стеклом на письменном столе. Вот он, наверное, годовалый, на коленях у матери... А тут ему года три, рядом с ним стоит собака. Здесь он уже школьник, мама обнимает его за плечи и гордо, энергично смотрит в объектив. Гордится отличником-сыном. Именно эта ее гордость и эта неиссякаемая, целиком направленная на сына энергия стали со временем все больше и больше раздражать его. И он все делал для того, чтобы не дать матери возможности гордиться им... пожалел, что не додумался тогда забрать с собой фотографии. Хотя зачем они ему были нужны... Надо было просто порвать. Интересно, что бы они тогда стали делать? Что бы стали увеличивать? Впрочем, мама бы все равно что-нибудь придумала. Заказала бы портрет сына какому-нибудь художнику, подробно описав его лицо. Что-то в этом роде, наверняка, можно увидеть на кладбище. И почему он не подумал тогда об этих проклятых фотографиях? Хотя откуда ему было знать, что он так быстро протянет ноги, на дне озера отдаст Богу душу. Да и не мог он тогда о них помнить: уже тогда испытывал сильнейшее отвращение к этим приспешникам памяти. Забываешь чье-то лицо — значит, так и надо, забывай. А нет — так закрой глаза и увидишь его живым.

Снова подошел к огромному портрету на стене. Долго стоял посреди комнаты и с тяжелым сердцем

смотрел парню прямо в лицо. Им овладело что-то вроде нежности к нему, похоже было это чувство и на почтение. Но парень был чужим, чужим и далеким, он не был с ним знаком и никогда не сможет познакомиться, и он вдруг понял, что всю жизнь боялся встречи с ним.

«Если я поселюсь здесь, то тебя придется отсюда выселить, да? Так получается». Подошел к письменному столу. На углу его стоял большой квадратный аквариум с толстыми стенками, на дне его лежали два карандаша с обломанными кончиками и резинка со стертыми уголками. «Слава Богу, что не стали размножать моих рыбок. Или не выставили в этом музее их скелеты с табличкой: «Эти рыбки принадлежали нашему сыну, когда он еще был жив». Выдвинул ящик стола: игральная кость, авторучки, перочинные ножи разных размеров, леска, компас... карманный фонарик, батарейки — все собрано, аккуратно сложено... В комнате царит вечный порядок. Нажал на кнопку фонарика — не загорелся. «Все это принадлежит тебе, это твои владения, — мысленно обратился он к парню на портрете, — как же мне сюда втиснуться?» Прикрыл глаза. Под звуки какого-то бравурного марша снимаются со стен фотографии, складываются в стопки, с трудом протискиваются в дверь, наконец, выдворяются из комнаты и сваливаются в чулане или на шкафу и прикрываются марлей. Но парень на большой фотографии громко свистит, и марля приподнимается... развеивается белым парусом... Родители сначала пытаются поправить ее, потом перестают обращать внимание и под звуки все того же марша начинают выносить на веранду постель... А как же могила? Куда же они будут ходить по вечерам? Они ведь так нуждаются в чистом воздухе...


Можно ли сравнить обычные прогулки с визитами на могилу сына и самоотверженным уходом за ней... Правда, они могут стереть надпись и сделать новую, указав свое имя, о таких случаях ему тоже доводилось слышать, но одно дело — уход за могилой сына и другое — за своей собственной. Это уже будет не то. Тут ведь главное — скорбь. Праздник скорби. Чем же они будут теперь заниматься? Будут сидеть дома? И что же? О чем он будет с ними говорить? Что он может им сказать? Вдруг почувствовал сильнейшую усталость.

Как, однако, мудро поступают мертвецы, что никогда не возвращаются.

А тот, пустынный, вернувшись, не назвался родителям. Под видом бродяги стал жить у порога собственного дома, питаюсь объедками со стола родных вместе с другими оборванцами. Интересно, что им двигало? Желание подвергнуть волю, испытанную и закаленную в пустыне, еще более тяжкому испытанию? Прекрасно. Это все прекрасно. Во всяком случае, понятно. Но что заставило его написать то письмо? Зачем он описал перед смертью свою жизнь и положил письмо себе на грудь? Что это было? Какой удар для родителей: тот, по ком они скорбели, к кому взывали, по ком тосковали, был, оказывается, тут, рядом с ними. Бродяга, от которого остались лишь кожа да кости. Каково было им, несчастным, когда они узнали это! Не тут ли разбилась вдребезги его закаленная в раскаленных песках пустыни воля? Захотел-таки хоть в смерти оказаться рядом с ними, не остаться в одиночестве, хоть в смерти обзавестись родными. А может, решил стать преданием? Устрашился бесследного исчезновения? И это он, он, знавший, что Вездесущий постоянно наблюдает за ним и что ничто не исчезает бесследно. Оставил след. Превратился в легенду.

Ему же за эти двадцать лет так и не встретила нигде такая пустыня, где бы он мог услышать Его голос. Специально он не искал, но надеялся, что однажды где-нибудь вдруг набредет, вдруг увидит перед собой во время скитаний. Специально не искал, но думать думал.

Разболелась голова. Снова взглянул на аквариум: вдруг захотелось стать рыбкой и поселиться в нем. Это было бы прекрасным выходом. Карандаши с резинкой друг за дружкой выскочили из аквариума, дно устлалось камушками и ракушками, вытянулись кверху водоросли. Черная головастая рыбка с большими серыми глазами вильнула хвостиком. Хорошо в воде. Рыбка подплыла к стенке аквариума и уставилась на комнату влажными неподвижными глазами. Только вот воды в аквариуме с самого начала получилось маловато, и теперь никак не удавалось его наполнить. Как ни напрягал воображение — воды в аквариуме не прибав-



лялось. Она едва прикрывала рыбке спинку. Неуютно стало в чешуе рыбки; он открыл глаза — и карандаши с резинкой снова опустились на дно аквариума. Вот в этом и было все дело... Вот так и вся его жизнь. Сколько ни скитайся из деревни в город, из степи в тундру, от гор к морю — что толку рыбке в огромном аквариуме, если воды в нем едва-едва!


Подошел к отворенному окну. В ветвях деревьев гулял ветер, устилая листьями землю. Через три недели солнце войдет в созвездие Скорпиона... А там и день его рождения подойдет. Они его, конечно, отметят. Вздохнул. Глянул на висевший тут же, у окна, на стене календарь, листками которого, как и листьями деревьев, шелестел ветер. Вот тут они допустили ошибку. Зачем в этой комнате календарь? Время ведь здесь застыло.

Повернулся, подошел к портрету вплотную. Стекло отразило его лицо: он как будто смотрел парню в затылок. Видны были оба лица. Нижнее — затемнено тенью. Чуть двинул головой — и обе пары глаз оказались на одной линии. Глаза парня и его, собственные. Он смотрел в глаза обоим. «Ты оставайся, так будет лучше, им не до меня».

Еще раз подошел к календарю, полистал его, отыскал нужный листок — свой день рождения, вырвал его, сложил вчетверо и сунул в карман.

Женщина снова показалась на веранде и выглянула на улицу, в сторону зеленой калитки: мужчина прикрыл калитку за собой, поколебавшись, надел что-то на проволоку, повернулся и пошел. Но вдруг остановился, вернулся назад, забрал это что-то и, проходя уже возле двора женщины, выбросил этот предмет куда-то вбок, через плечо.

Женщина поспешно спустилась вниз, схватила со спинки кресла шаль и принялась трясти ее. Сердце у нее бешено колотилось. Но незнакомец прошел мимо, даже не глянув в ее сторону. Сердце у женщины словно оборвалось, и когда мужчина скрылся из глаз, она вышла на улицу и оглянулась. Никого. Сосед уже успел прибить скамейку и уйти в дом. Женщина сделала



несколько шагов и осмотрела то место, куда мужчина что-то выбросил. На краю дороги, почти у самой изгороди, лежал продолговатый черный ключ.

Сад, освещенный луной

Я никак не мог понять, что в этом было смешного. Что за бес вселился во всех этих людей, почему они хватались за бока, подпрыгивали на стульях и хохотали так, что стены дрожали от их гогота? Если это ненормальные, то почему они собрались именно у нас, не на экскурсию же их сюда привели в конце концов! Да, вот уж поистине невозможно что-либо понять в этой жизни... А ведь как прелестна была Джульетта в своем белом платье; правда, сбегая с расprostертыми руками по лестнице, она наступила на подол платья и чуть не упала, но разве культурные люди смеются над подобными вещами!.. Однажды я сам был свидетелем того, как в одном государственном театре обезумевшая Медея, выпрыгивая из кареты, зацепилась платьем за что-то, и всем телом рухнула на одного из своих сыновей, которого она по сюжету должна была нежно обнять, усадить в карету и только после этого ласково умертвить вместе с его братцем. Мальчик упал, в ужасе вскочил на ноги и с громким ревом ринулся прочь со сцены. Вдогонку за ним устремилась няня, за кулисами его перехватил Ясон, и с большим трудом им удалось вернуть ребенка на сцену, ведь отпустить его со сцены живым было никак невозможно, и мы, зрители первого ряда, прекрасно слышали, да-да, прекрасно слышали, как они его уговаривали: дескать, куда ты, вас ведь еще не убили, погоди немного, сейчас мама вас убьет, и тогда уж пойдете, куда захотите. А тем временем второму сыну удалось наконец подняться на ноги распластавшуюся на полу Медею, которая была явно не в состоянии не только кого-либо убивать, но вообще двигаться, к тому же на лбу у нее красовалась огромная шишка, так что зрелище было, прямо скажем, не из приятных. Все это, поверьте, было очень смешно, но все сдержались! Я прекрасно видел искаженные сдерживаемым смехом лица и колы-

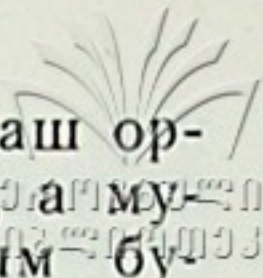
шущиеся животы. Одни усиленно сморкались и каш-
ляли в носовые платки, другие сидели с багрово-крас-
ными лицами и старательно терли платками очки. Лю-
ди чуть не поумирали от удушья, но никто не засмеял-
ся. Потому что там был государственный театр... А
здесь?

Нет, видно, тут все дело в нашем прошлом, ведь
от прошлого никуда не денешься. А мы раньше высту-
пали в цирке. Догадываетесь, что я хочу сказать? —
То есть смешили людей, развлекали. И теперь они бу-
дут хохотать всюду, где бы они нас ни увидели — бу-
дут помирать со смеху, даже если мы у них на глазах
вскроем себе вены! Да, причина, несомненно, заклю-
чалась именно в этом. Но постойте! Как же в таком
случае объяснить тот факт, что один из них все же не
смеялся, а, напротив, с бледным от волнения лицом не-
отрывно следил за происходившим на сцене, причем это
был как раз тот зритель, для которого в сущности и
существует цирк, истинный адресат и постоянный гость
всех цирковых представлений — ребенок?! В первом
ряду сидел мальчик лет десяти, с очень тонкими кистя-
ми рук, большеглазый, буквально пожиравший этими
глазами сцену, увлеченный настолько, что сначала да-
же не слышал смеха. Когда же смех стал оглушитель-
ным (а между тем Джульетта только что, у трупа Ро-
мео, пронзила себе грудь кинжалом и, о Боже, с ка-
ким изяществом откинула назад голову!), мальчик вско-
чил, повернувшись к ревушей и гогочущей толпе и, потря-
сая поднятыми над головой кулаками, закричал: «За-
молчите! Замолчите!..» Эх, и вспоминать не хочется.
Это были самые ужасные минуты нашей жизни...

Что же касается цирка, то там мы, разумеется,
имели большой успех. Стены дрожали от аплодисмен-
тов, смеха и всеобщего веселья. Наша прославленная
труппа, насчитывавшая пятьдесят артистов, составляла
главный предмет гордости нашего города, а в последнее
время, можно сказать, и самую большую его достопри-
мечательность. А это тем более показательно, что наша
столица не испытывает недостатка в историко-культур-
ных ценностях. И все же не будет преувеличением, ес-
ли я заявлю, что наибольшую известность и славу ей
принесла именно наша труппа. Ведь кто из людей, хоть

немного, разбирающихся в этом, то есть в нашем деле, не согласится со мной, что для одного, причем не такого уж большого города пятьдесят лилипутов действительно очень много. В каких только городах ни красовались наши огромные великолепные афиши: «Цирк лилипутов из города N». Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что в других цирковых труппах если и есть пара лилипутов, то они исполняют вспомогательные роли — помощников жонглеров, эквилибристов и клоунов: подают обручи, внезапно высовывают голову из пестрого ящика иллюзиониста, а то и просто стоят на арене, а через них прыгают дрессированные собаки. Мы же были профессионалами, исполняли все главные номера.

Но вы, наверное, согласитесь со мной, что как бы велико ни было искусство и умение артистов, цирк есть цирк. Ему не хватает... поэзии, если хотите, утонченности, творческого начала... скажу больше — возвышенности. И хотя цирк, часто имея дело с настоящим риском, и пахнет настоящей жизнью, он все же ближе к спорту, нежели к подлинному искусству... Большинство так называемых «эффектных» номеров исполняется ценой таких нечеловеческих усилий, что они не могут доставлять удовольствия, а уж когда бледные лица артистов растягиваются в вымученных улыбках — это вообще жуткое зрелище! Кроме того, и акробатические, и жонглерские, и даже клоунские номера настолько затасканы, что программа любого цирка известна зрителю заранее, и, по-моему, смеется и веселится он только лишь потому, что заплатил за это деньги. Конечно, история цирка знает немало выдающихся личностей, вносящих в свое дело творческую новизну. Чего стоит хотя бы тот великий клоун (не буду называть его имени, дабы не возбудить к нему зависти), с таким утонченным артистизмом сочетавший юмористическое с поэтическим — это было настоящее, большое искусство! Но подобные явления, к сожалению, составляют исключения. Нам же прежде всего помогало то, что внешне мы отличаемся от других, обычных людей и во время представлений — по-детски непосредственны и естественны. Дети, видимо, принимали нас за детей, что естественно, способствовало установлению контакта... Но




чего нам стоило добиться хотя бы того, чтобы наш оркестр (дирижером которого был бывший боксер, а музыканты умудрялись прикладываться к пивным бутылкам даже во время игры) профессионально исполнял со вкусом подобранную музыку, а не гремел оглушительные марши. Нам пришлось полностью заменить его состав, что потребовало от нас длительной и изнурительной борьбы. Короче говоря, вы уже поняли, что о цирке я имею свое собственное профессиональное мнение, но по самым разным причинам, и прежде всего потому, что это завело бы нас слишком далеко, я на этом прерву рассуждения на эту тему. Главное же было в том, что цирк нас не удовлетворял... Нас тянуло к чему-то более возвышенному, более серьезному.

Могу ли я забыть, как, разыскивая одного из своих товарищей, куда-то запропастившегося перед самым выходом (номер же его состоял в том, что он должен был по веревке взобраться на канат, пробежать по нему, сделать несколько танцевальных па, сорваться вниз, попасть ногами на нижний канат и небрежно, как ни в чем ни бывало, пройти по нему), — я обнаружил его в самом углу, среди клеток с дрессированными животными, стоящим под жирафом. Да-да, господа: в одной руке — небольшая книжка, вторая рука прижата к груди, нога выставлена вперед, — он вдохновенно обращался к невидимым слушателям: «Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним!» А жираф внимательно слушал, низко склонив к нему голову с удивленными продолговатыми глазами. Сначала я просто опешил от неожиданности, но вскоре сердце мое болезненно сжалось. Мне было так знакомо и понятно душевное состояние моего коллеги. Если в тебе живет неистребимая жажда возвышенного, вправе кто-либо запретить тебе это и приговорить к пожизненному кувырканию на манеже только на том основании, что ты липнут? А кто мог понять нашего прославленного клоуна, по-настоящему разрыдавшегося однажды, когда возвышавшийся посреди арены огромный арбуз внезапно раскрылся, сидевший в арбузе клоун вместо того, чтобы выпрыгнуть из него, упасть на колени перед иллюзионистом и воскликнуть: «Благодарю тебя, о вели-

кий маг, ты освободил меня!» — не сразу и с трудом поднял голову от книги, которую читал, сидя в арбузе с карманным фонариком, изумленно, полными слез глазами обвел зрителей и совершенно серьезно обратился к ним: «Давайте... поплачем все вместе, ведь она уже мертва». Зал взорвался хохотом, хотя никто не расслышал этих слов клоуна, и белые мыши не вылезли на этот раз из широких штанин его шаровар в цветочек.

И как вы думаете, кто же была эта загадочная «она»? Никто иная, как Антигона! Трагическая история этой мужественной девушки так захватила нашего клоуна, что он, в поисках уединения, задолго до представления забрался в этот арбуз, предусмотрительно прихватив с собой фонарик, и с головой ушел в чтение — настолько, что даже очутившись на сцене не смог опомниться и сообразить, что происходит. Зато кое-кто другой опомнился, все смекнул и призадумался! Директор цирка повертел в руках злополучную книжку, потом, погрузившись в размышления, удалился в свой кабинет и заперся в нем! Да и как ему было не запираться! Разве не требовал углубленного анализа тот факт, что все странные происшествия, вносящие изрядную неразбериху в работу труппы, были так или иначе непременно связаны с книгами определенного содержания? Чего стоило поведение Беаты (той самой, помните, блестящей исполнительницы роли Джульетты) в ее номере с кудрявыми пуделями, белой козой и бурой лисцей! Ведь в последнее время она стала появляться на арене в длинном белом платье с такой же длинной накидкой (вместо короткого блестящего сарафанчика), причем накидку эту, словно шлейф, почтительно несли за ней коза с лисой! Она перестала смеяться, бегать, прыгать и резвиться со своими дрессированными животными и теперь держалась царственно-важно.


И чем все это кончилось? Однажды ее любимица, знаменитая коза Бики, вместо соломенной шляпки с бантом, которую два пуделя должны были водрузить на голову Беате, извлекла из розовой корзиночки, украшенной пестрыми бумажными бабочками, какую-то книжку и, недолго думая, положила ее перед собой и принялась листать, тычась в нее носом! Правда, номер



от этого только выиграл, и детскому веселью в зале не было предела, но директор-то знал, что в этом месте должна была появиться шляпа, а не книга. Видимо, Беата по рассеянности сунула книгу в корзинку и забыла о ней, и вот теперь она появилась на арене вместо шляпы. Растерянная Беата поспешно отобрала у любознательной козы книгу и заставила не менее растерянное животное снова лезть в корзинку — за шляпой.

И вот прошло совсем немного времени, и все эти книги оказались в кабинете у директора и стали предметом напряженных исследований. А мы, вроде бы безо всякого умысла, то и дело деловито прохаживаясь мимо директорского кабинета, из непрерывно доносившегося оттуда бормотания могли разобрать лишь одно слово: «эпидемия». Директор понял, что происходящие с нами необъяснимые теремны таили в себе серьезную опасность для будущего труппы. И он, не стану этого отрицать, был абсолютно прав: прославленный цирк лилипутов не сегодня-завтра грозил взлететь на воздух под неудержимым напором бунтарского духа, почерпнутого его членами из всех этих книг, в которых великие драматурги повествовали о возвышенных человеческих страстях, с неодолимой силой увлекаая нас к настоящим слезам, настоящей жизни и смерти, пробуждая в нас страстное желание отказаться от нашего ничтожного существования и ощутить в наших маленьких телах биение большой жизни.

Директор ничего нам не говорил, но с некоторых пор мы на каждом шагу стали наткаться на сюрпризы, свидетельствовавшие об объявленной нам войне с тщательно разработанными стратегией и тактикой. Так, например, в один из свободных вечеров я, открыв тумбочку, чтобы достать из нее любимую книгу (заранее предвкушая удовольствие, которое испытывал всякий раз, погружаясь в эту далекую, но столь желанную и притягательную жизнь), обнаружил на ее месте книжицу в блестящем желтом переплете — «Смех — здоровье». Потом выяснилось, что мои товарищи тоже находили такого рода книги: кто под подушкой, кто в кармане пальто, кто среди циркового инвентаря — вместо припрятанных там трагедий. «Профессия клоуна —



благородная профессия!», «Цирк — душа века», «Зовет, покоряет, вдохновляет манеж!». Судите сами, каких пределов достигло к тому времени мое возбуждение, если я отважился на шаг, равносильный открытому вызову, так сказать, бунту: я оставил эту желтую книжицу на столе в кабинете директора, приложив к ней такую записку: «Если всем вокруг не до смеха, то смешить людей — это обман!» Директор и на этот раз смолчал, видимо, обдумывая новую линию поведения и готовясь к контратаке. А тем временем мы тоже не теряли времени даром. Как раз вмешательство директора и ускорило процесс перерастания нашего спонтанного волнения в осознанное, целенаправленное движение. Скрывать теперь уже нечего, так что я сознаюсь, что мы к тому времени уже вели оживленную переписку с одной вышестоящей городской инстанцией, с железной логикой доказывая ей обоснованность нашего порыва и требуя немедленного предоставления места для выхода наших страстей. Мы прекрасно понимали, что развал труппы лилипутов никак не входил в планы наших городских властей ни с финансовой, ни с какой-либо иной точки зрения. Но что они могли противопоставить нашей аргументации, опиравшейся на принципы гуманизма, защищавшей свободу личности, таланта, творчества? Получаемые же нами ответы были, надо сказать, в высшей степени двусмысленными и туманными.

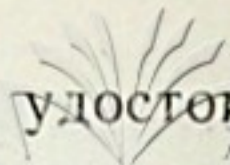
В первом ответе превозносились заслуги нашего цирка и подробно разбиралось его огромное значение для жизни столицы и даже, если хотите, всей нации. Подчеркивалось, что после спортивных зрелищ (особенно футбола), благодаря которым большая часть мужского населения имеет возможность содержательно проводить свободное время и избавляться от излишка энергии, цирк в смысле привлечения масс занимает второе место и являет собой совершенно уникальное, незаменимое зрелище, так как привлекает людей обоих полов и всех возрастов, начиная с одного года и вплоть до того возраста, когда человек утрачивает способность двигаться, что благодаря синтезу смешных, опасных и виртуозных номеров, жизнерадостной музыке и головокружительным световым эффектам



цирк настолько покоряет, изумляет, переполняет зрителя, что не оставляет в его душе места для повседневных забот и тревог. Во втором ответе, то есть ответе на наш ответ, нам предлагалось подумать о детях, говорилось о ранимости их психики, так нуждающейся в веселье и разрядке. Третий ответ содержал некие общие сомнения по поводу наших планов, избранного нами нового творческого амплуа. Четвертый ответ представлял собой откровенный отказ, обоснованный соображениями финансового характера, пятый — фактическое согласие и попытку отодвинуть окончательное решение вопроса на некий неопределенный срок, шестой — окончательное разрешение и, наконец, седьмой — резолюцию. Признаться, мы никак не ожидали столь быстрого благополучного исхода! Видно, судьбе порой тоже наскучивает собственная суровость, и она иногда улыбается — и вот тут-то главное — не оказаться застигнутым врасплох, обессиленным, не способным ответить улыбкой на ее улыбку, как это чаще всего бывает.

Справедливости ради скажу, что спорить с нашими ответами, являвшимися ответами на их ответы, было не так-то просто. У нас все было заранее продумано и взвешено. Аргументация наша, помимо вышеупомянутых общих гуманистических соображений, содержала также следующие более конкретные пункты: по данным статистики, писали мы, в нашем городе, Божьей милостью (ох, разумеется, только лишь в данном контексте, а то какая там милость — наоборот!), продолжают появляться на свет лилипуты (и в этом наш город по сей день обгоняет другие города), что дает возможность комплектовать труппы новыми кадрами, мы же со своей стороны с радостью сообщаем о своей готовности взять шефство над начинающими артистами и оказывать им всяческую помощь; писали мы и о том, что удрученным отказом артистам труппы, то есть нам, трудно будет создавать в цирке беззаботную и веселую атмосферу, что подавленное в них, то есть в нас, стремление неизбежно будет вырываться наружу в самых неожиданных формах, что несомненно будет грозить цирковым представлениям. Что же касается того письма, в котором почему-то высказывались какие-то необоснованные сомнения по поводу нашего нового

амплуа, то его мы даже не сочли нужным удостоить ответа. ...




УДОСТОИТЬ
ОТВЕТА

Так или иначе, в конце концов в нашем распоряжении оказалось не очень большое, но удивительно уютное и красивое, построенное в стиле барокко здание, на лепном потолке которого удобно расположилась стайка играющих на трубах ангелов с раздутыми щеками, причем ростом эти ангелы были как раз с нас; и вскоре фасад этого здания украсился надписью: «Театр лилипутов».

Хорошо помню последний день в здании цирка. Сердечно прощались мы с нашим директором, мрачно сидевшим за столом и складывавшим в свое время подсунутую нам по известным причинам литературу — яркие книжки в блестящих переплетах, которые мы по очереди, с изъявлениями благодарности возвращали ему — справа и слева от себя. Оказавшись в конце концов меж двух высоких стопок этих книг, он бессмысленно уставился сначала на одну из них, потом на другую, вчитался в их заголовки и со вздохом пробормотал: «Манит, покоряет, вдохловляет манеж», «Цирк — душа века». Мы, поверьте, как могли утешали и успокаивали нашего директора. Умоляли убрать подальше гигантских размеров носовой платок, которым он утирал глаза, взять себя в руки и крепиться. Заранее пригласили на все наши представления и, наконец, распростились с ним с сердечнейшими пожеланиями.

Мы поселились в здании нового театра и начали новую жизнь. Режиссером нашим, по иронии судьбы, оказался человек геркулесовского телосложения, намного крупнее директора цирка. Был он человеком странным, рассеянным, с какой-то невнятной речью, зато — и этого у него никак нельзя было отнять — отличался кротким нравом и добрым сердцем. Все, кто видел его с нами, тут же вспоминали Гулливера и его маленьких друзей, а не Карабаса Барабаса с его куклами, как это было в нашу бытность в цирке.

Во время обсуждения будущего репертуара наш режиссер после довольно продолжительного раздумья предложил нам трагедии известного бельгийского драматурга, обосновав свое предложение тем, что трагедии эти были написаны специально для театра марионеток.



С ним согласился только наш бывший иллюзионист. Симпатии же остальных склонялись к античному театру и театру Возрождения. И дело было вовсе не в том, что мы не признавали достоинств бельгийского драматурга, Боже упаси, вовсе нет! Что может сравниться с чудесным, исполненным таинственности миром его трагедий! Но мы жаждали напряженного, яростного действия, его же пьесы, как известно, представляют собой как раз отрицание такой жизни. Нам казалось противоестественным после нашего прошлого сразу погрузиться в эту тишину и покой. Наконец, после продолжительных споров, во время которых то один, то другой мой товарищ принимались декламировать монологи Эдипа или Креонта, Отелло или короля Лира (все мы уже знали наизусть свои любимые роли), выбор пал на «Ромео и Джульетту».

С каким энтузиазмом и — как бы громко это ни звучало — самоотверженностью ринулись мы в новую жизнь! Обычным театрам такое и не снилось. Жизнь бурлила и плескалась через край во время наших репетиций. Там, где нужно было плакать — мы плакали настоящими слезами, где нужно было драться — по-настоящему дралась (так что режиссеру однажды с трудом удалось разнять разъяренных Монтекки и Капулетти). Скажу больше: мы готовы были умереть настоящей смертью, так сильна была в нас жажда настоящей жизни.

Режиссер наш, чаще всего лишь пожимавший плечами, чесавший затылок и бормотавший себе под нос что-то вроде: «...Результат все равно тот же» (что, как мы считали, относилось к чему-то из его личной жизни, а не к нашим репетициям), предоставил нам полную свободу действий, и мы неутомимо боролись, сражались, молились, любили и умирали.

Так вот скажите мне теперь, мог ли я после всего этого поверить собственным ушам, когда на премьере в зале раздался смех? Тем более, что встречавшиеся в тексте комические фразы мы сократили до минимума!

Лично мне на этот раз досталась скромная роль суфлера, поскольку мои актерские способности было решено приберечь для следующего спектакля. И когда я, стоя на стуле в суфлерской яме, уловил эти доносив-

шися из зала странные звуки, то, естественно, сначала принял их за покашливание. Что же касается актеров, то они были так увлечены игрой, что вообще не обращали на зал никакого внимания. А что особенного в покашливании зрителей? В государственном театре тоже то в одном, то в другом углу раздается кашель, а нередко с кем-нибудь из зрителей случается такой приступ, что ему даже приходится покинуть зал. И чихают тоже часто. А в последнее время простуда и грипп взяли обыкновение обрушиваться на город с самого сентября — что тут поделаешь? Не отказываться же людям от посещения театра! И я, представьте себе, проникся сочувствием и даже состраданием к зрителям, издававшим эти звуки. Даже пожелал каждому из них скорейшего выздоровления.

Я не мог оторваться от разыгравшейся на сцене трагедии, порой она так захватывала меня, что я начинал суфлировать слишком громко, фактически опережая реплики актеров, однако я сумел обуздать свои чувства, и все шло великолепно. Но шум в зале нарастал и становился все более подозрительным. Что было делать?.. Я высунул голову из своей ямы и глянул в зал, что еще больше усилило уже царившее в нем откровенное веселье.

Они хохотали, господа, они хохотали! Хохотали, когда Ромео лунной ночью клялся в любви Джульетте (и у меня как раз слишком громко вырвались его слова), хохотали, когда рухнул наземь Меркуцио! Когда Ромео сразил Тибальда! Хохотали даже при виде склепа, обители смерти! Вот тут-то как раз и не выдержал тот благородный мальчик, тут-то он и закричал...

Когда же я в третий раз высунул голову из ямы, в глаза мне бросилось огромное лицо человека, хохотавшего громче всех. И едва захлопнулся гигантский красный провал его рта и вернулись на свои места искаженные черты лица, как я тут же узнал его: это был директор цирка. Что же касается нашего режиссера, мелькнувшего в кулисах и затем куда-то исчезнувшего, у него лицо было печальное и озабоченное. В конце концов и актеры стали отдавать себе отчет в происходящем. В наступившей тишине невозможно было не услышать гремевшего в зале хохота или же принять его за ры-

дания. Мертвый Ромео даже приподнял голову и с изумлением уставился в зал.

Завершилось представление бурной овацией, и возбужденные и довольные зрители, энергично жестикулируя и обмениваясь возгласами одобрения, разошлись. Артисты же покидали сцену молча, стараясь не смотреть друг на друга.

Мне же так не хотелось вылезать из моей ямы! Сидя в ней, я многое успел обдумать и понять, но не хотелось называть все своими именами. Лейтмотивом всех моих смятенных, мечущихся мыслей и чувств была непонятая нами в свое время присказка нашего режиссера: «Результат все равно тот же». Да, результатом был смех. Неужели и цирк был тут ни при чем? Неужели в самих наших телах, наших замахнувшихся на большие чувства маленьких телах, уже был заключен элемент комического? Разве не случилось мне даже в церкви замечать иронический блеск (который мне так не хотелось замечать) в устремленных на меня взорах? Неужели и они, вполне безобидно (нет-нет, никого не могу обвинить в злорадстве), да-да, безобидно-насмешливо думали в это время, что нам, таким маленьким, больше подошел бы маленький Бог и маленькая церковь? Неужели нашими настоящими зрителями могут быть лишь дети да ангелы? Но на такие представления детей не пускают (тот славный мальчик, наверно, попал сюда случайно), наверняка не пустят и ангелов, как лиц неблагонадежных, даже если бы они и вздумали посетить наш театр и предъявили у входа билеты, в качестве же всевидящих, но невидимых зрителей они мало чем могут нам помочь на этой сцене. Но постойте, друзья, одну минутку! А наши зрители, вздумай они сыграть в нашем спектакле, — разве не были бы смешны они? Разве не стали бы и они беспомощно барахтаться в этих больших, очень больших ролях, как внучата в прапрадедовских одеждах?! Несмотря на свои большие тела! Да и кто не был бы смехон? Я обвел взглядом уже опустевший зал и вспомнил его — того возмущенного мальчика с тонкими кистями рук — вот он бы не был! Много еще других вопросов вертелось у меня в голове, но я оставлял их открытыми. Открытые вопросы — залог продолжения жизни, а «неужели» —



это все же утешение. События же того дня я объяснил себе недоразумением, случайностью, совпадением и причислил к необъяснимым явлениям жизни. В конце концов даже на панихидах люди иногда смеются, а уж там-то ведь точно нет ничего смешного, более того, им вовсе не хочется смеяться.

Однако ночью, выйдя на балкон моей маленькой мансарды и услышав плач, я не выдержал и выпалил то... что выкрикнул недавно вместо Ромео... Стоявшая на соседнем балконе Беата, все в том же белом платье Джульетты, подняла голову и устремила на меня долгий взгляд прекраснейших, полных слез глаз... Я же невольно в испуге глянул вниз, в сад, освещенный лунной, — не прячутся ли они и там, и не загремит ли онять их смех?

Друзья

Не разбудила? Слушай, я видела его во сне. Да, сегодня. Проснулась среди ночи и так и не могла больше заснуть, еле дождалась утра.

— Да что ты... Что ты говоришь?! — Слабый, безжизненный голос затрепетал и оборвался. — Как, как ты его видела?.. Только не по телефону, не надо, не рассказывай... Прошу тебя, спускайся ко мне... Я кофе сварю...

Молодая женщина положила трубку, приложила руки к припухшему лицу, оперлась рукой о стол. Потом, очнувшись, пригладила растрепанные волосы, надела халат, вышла в коридор, повернула ключ в замке, чуть приоткрыла входную дверь и направилась в кухню.

Коричневый порошок. Одна ложка. Вторая. Темный холмик на черном дне кофеварки. Поверх него — белый порошок. «Ах! — отдергивает руку. — Он ведь пьет без сахара!» Прикрывает глаза: «О, Господи... я схожу с ума... все время забываю...»

Коричневый холмик, присыпанный белым. «Свежая могилка... На второй день выпал снег». Медленно льет воду. Холмик исчезает под водой. «На третий день по-

шел дождь. Стоял настоящий март». Мешает. На поверхности медленно образуется пена. Выключает.

Две одинаковые чашечки. Только одна белая, другая синяя. Синяя — мужа. Белую поставила себе, мужнину — подруге. Налила кофе. Села. Посмотрела на чашки. В голове промелькнула какая-то мысль, и она поменяла чашки местами — мужнину чашку пододвинула к себе, свою сдвинула к другому концу стола. Подумала немного и опять переставила чашки.

Вошла Дали. Наклонилась, поцеловала ее в щеку и под села к столу. Закурила сигарету.

— Рассказывай, — нетерпеливо попросила Нелли.

— Я шла по какому-то странному саду... Было очень жарко, и мне ужасно хотелось пить. Я просто умирала от жажды, во рту пересохло... И никак не могла найти воду. В руке у меня была какая-то тяжелая черная сумка. Куда и зачем я ее несла и что в ней было — не знаю... Где-то поблизости слышался плеск воды, но я ее не видела...

— Дальше, дальше! — не выдерживает она.

— Вдруг открылась дверь моей комнаты (откуда там взялась моя комната — представления не имею) и вошел Тазо... Подошел ко мне... обнял меня и взял у меня из рук сумку...

— Обнял? — вздрогнула она.

— Да... обнял... — взяла чашечку, коснулась губами ее края и застыла, уставившись в одну точку.

— А дальше?

— И привел меня к воде... Это был бассейн, в центре которого стояла скульптура мальчика, белая, в зеленоватых пятнах... — отпивает кофе. — Я открыла сумку, достала простыню и расстелила ее у края бассейна...

— Простыню?

— Да, — задумалась. — Да... Тазо был в синей рубашке, с карманами на груди, с синими пуговицами. Рукава закатаны, воротник расстегнут... Подвел меня к бассейну... Поддержал меня, чтобы я могла напиться. На земле у бассейна валялась черная кожаная перчатка... К воде подошли еще какие-то люди... Кажется, монахи... На самом же деле они вроде следили за нами... — Задумалась, словно всматриваясь во что-то.

— Как он тебя поддержал, как? Ну-ка, покажи.

Она встала, сердце готово было выскочить у нее из груди.

— Вот так... — подходит к подруге со спины и берет ее горячими ладонями за ее холодные обнаженные локти.

— И... потом? — шепотом спрашивает она.

— Я напилась воды, пришла в себя, и мне стало хорошо, радостно...

— А потом?

— Потом... проснулась...

— И больше ничего?

— ...Нет...

— Какое у него было лицо? Как он выглядел? Что он говорил?

— Улыбался... Был красив... Ему было хорошо... А та рубашка еще у тебя?

— Какая рубашка?

— Синяя, с карманами... которая была на нем...

— Когда?

— Во сне... Я ведь говорила...

— А-а... Не помню... А ты, если увидишь, узнаешь ее?

— Да.

Она стала по одной доставать из гардероба вешалки. На каждой висело по две-три рубашки.

Снимала их с вешалок и расстилала на кровати.

— Нет, не эта, и не эта... не эта... — говорила подруга, не сводя глаз с рубашек.

Нелли выдвинула ящик.

— Может, здесь. Хотя не думаю. Тут только старые. В последнее время он их не носил.

Стала выкладывать из ящика аккуратно сложенные сорочки.

— Вот! Вот эта! — воскликнула Дали. — Вот эта была на нем.

— Ты уверена? — прижала она рубашку к груди, и, зажмурившись, опустилась на кровать.

— Нелли... — тихо окликнула ее подруга. — Ты не раздавала одежду? Надо раздать, ты ведь знаешь, так положено...

— Не могу, — прошептала она и зарылась лицом в рубашку. — Не могу расстаться! Ты ведь понимаешь...

— Отдай близким...

— Почему он не снится мне, почему... — слезы ручьями текли у нее по щекам. — Мне сказали, не надо целовать покойника, если хочешь, чтобы он тебе снился, и я так ни разу и не поцеловала его... Руки себе кусала, с ума сходила, ты ведь помнишь, я чуть не умерла от желания приласкать его холодное, исхудавшее, пожелтевшее лицо, — и все же стерпела, удержалась из страха, что он не будет мне сниться... Но вот уже и сорок дней прошло, а он еще ни разу, ни разу мне не приснился. — Синяя мужская рубашка намокла от слез. — А ты ведь поцеловала его? Ты ведь поцеловала его там, на кладбище?

— Поцеловала.

— Зачем, зачем я поверила маме и сестре... Хоть бы раз поцеловала, хоть бы один раз... Если б ты знала, Дали, как я по нему тоскую... Не могу больше, слышишь, не могу... Ты ведь знаешь, как я его любила... и как он любил меня.

— Перестань, прошу тебя, перестань. Ты ведь была счастлива. С тем, кого любила, кто любил тебя, прожила целых три года. Понимаешь, что это значит? Целых три года! Живи этими годами...

— О, лучше бы мне их не помнить, не помнить ни одной минуты, не помнить его! Лучше бы они навсегда стерлись из моей памяти... Он все время стоит у меня перед глазами, каждую минуту, каждую секунду. Помнишь, Дали, какая у него была улыбка! А руки, ты ведь помнишь, какие у него были руки. А сердце какое... Если среди сотни тарелок попадалась одна треснутая, — ставил себе, чтоб кому другому не досталась. А как он возил нас на машине за город... Мы рвали цветы, собирали боярышник, как счастливы мы были тогда, и вот теперь уже никогда, слышишь, никогда этого не будет... Никуда он нас больше не повезет, Дали... — она задохнулась от рыданий, закашлялась.

— Успокойся, прошу тебя, сейчас принесу тебе воды... — сходила на кухню за водой и собственноручно напоила ее.

— Ты говоришь, он обнял тебя? — вдруг спросила она и подняла на подругу широко раскрытые, вдруг сразу высохшие глаза.

Дали смутилась. Молча кивнула.

— Неужели он так никогда мне и не приснится? —
лицо ее выражало отчаяние.

— Приснится, обязательно приснится. Успокойся,
прошу тебя...

«Приснится, приснится», — мысленно твердила Дали, медленно поднимаясь по лестнице. С трудом повернула ключ в двери своей квартиры двумя этажами выше.

А она сидела на кровати, прислушиваясь к тому, как нестерпимая обида, которую она осознала до конца, лишь оставшись одна, разрывала ей сердце на части. Прижала руки к груди и, раздавленная несправедливостью, упала на кровать, на разложенные рубашки мужа. Ну почему, почему ее муж должен был присниться другой? Почему он должен был прийти к другой, обнимать и радовать ее, и при этом быть счастливым? В сердце занозой вонзилась странная ревность: она была обижена на обоих, они больно ранили ее в самое сердце. Доведенная нестерпимым одиночеством и болью до отчаяния, стала хватать с кровати рубашки, прижимать их к груди, зарываться в них лицом: «Жизнь моя, любовь моя, приди ко мне, помоги мне, спаси меня...»

Ночью Дали лежала в постели и смотрела в потолок. «Прошло пятьдесят дней. Пятьдесят ужасных дней. И как такое выдерживают жены? Или возлюбленные? Или любовницы? Лучше уж быть одной, чем вот так потерять любимого. Несчастливая. Несчастливая. Что с ней будет? Жила одним мужем, никто больше не был ей нужен. Никто и ничто... Теперь хочет, чтоб я все время была с ней. Чем я могу ей помочь? Все время говорит о муже. Все мне рассказывает. Все. Ни с чем не считается. Скоро, наверное, и о брачной ночи подробно расскажет. Целый месяц фактически живу у нее. Устала. Не могу больше. Исчерпала запас утешительных слов. Пятьдесят дней не убирала квартиру. Не готовила. Еду ей приносят мать и сестра. Если бы у меня умер муж, я бы тоже умерла от горя и от голода».

В углу комнаты покачивалась паутина. «Интересно, от чего она качается? Воздух в комнате совершенно неподвижен, и я лежу без движения... Завтра с утра опять позвонит мама. Снова упреки. «Подумай о

себе, несчастная, совсем себя доведешь из-за других...» Служба... Перевернутые кофейные чашки. Проступающие на дне их странные, таинственные жизни. Встречи, измены, мужчины с дороги, неожиданные подарки, перемены, потрясение, постель с женщиной, у него кто-то есть, избавление, разговоры у него дома, поздняя дорога, тайное свидание... Каждый день переворачивают чашки... И каждый день происходит в этих чашках масса всего, никак не связанного с жизнью, в которой уже не происходит ничего, кроме смерти. Кофейные мужчины, кофейные поцелуи, кофейные объятия, кофейная эротика, кофейные дети, кофейные деньги... кофейные гробы, кофейные постели, кофейные цветы... целый мир из коричневой гущи. Живут на дне этого темного осадка, и благодаря ему переносят все жизненные невзгоды.. Боже, о, Боже, если б ты знал, что такое одиночество, что такое миллиард одинаковых дней, что такое увядание и угасающие одно за другим желанья! Если б ты только знал, о, Боже, как это страшно — жить на этой земле, если никто не обнимает, не ласкает, не согревает тебя! Если б ты знал, Господи, если б ты знал...

Снова всплыл в памяти один вечер, один поздний вечер, воскрешенный сном. «Когда это было? В прошлом году? Или в позапрошлом?» А может, она никогда и не забывала его? Просто теперь он снова обрел значение, которое она тогда с таким трудом отогнала? Поздно вечером они случайно оказались вместе в лифте. На нем была та самая рубашка. Синяя. С карманами. На своем этаже он не вышел. Двери лифта закрылись. Он нажал на кнопку. Повернулся к ней, посмотрел ей прямо в лицо и сказал: «Я зайду к тебе. Можно?» Столько раз заходил, столько вечеров проводили вместе, то втроем, то вдвоем, — ну и что ж? Но в этот раз она смутилась. Сердце так и подпрыгнуло в груди. То ли от испуга, то ли от неожиданности. А он внимательно посмотрел на нее с секунду, пробормотал: «Ладно, ладно», неожиданно погладил рукой по волосам, и, как только они вышли из лифта, прощально помахал рукой и стал быстро спускаться по лестнице. И больше ничего. Совсем ничего. Только один раз, еще до этого случая, когда Нелли болела, и она гладила его рубашки: медленно, легко, нежно водила утюгом по рукавам,

по груди... воротнику... И вдруг почувствовала чей-то взгляд: он стоял в соседней комнате, курил и внимательно следил за ней, за ее руками. Тогда она тоже смутилась. Растерялась. Словно за ней подглядывал из пещеры кто-то... Это был миг, тот самый миг, когда что-то происходит, что невозможно выразить словами. Потом? Потом ничего, жизнь продолжала идти обычным, привычным путем. Она жила в основном их жизнью, жизнью своих друзей, под сенью ее...

Закрыла глаза. Тронула ладонями обнаженные локти. Потом обхватила себя руками за плечи. Погладила рукой по щеке, медленно, чувственно провела пальцами по губам...

А поздней ночью, когда она уже спала глубоким сном, молодой, бледный, по пояс обнаженный мужчина приоткрыл дверь в ее комнату, комнату, которой не существовало на этом свете.

Смерть одного человека

Он умирал, и знал об этом. Умирал именно так, как всю жизнь боялся умереть: в полном одиночестве, в своей однокомнатной квартире.

Все в его жизни происходило не так, как ожидалось. Постоянно пребывал он в растерянности и недоумении. И тогда, когда у него родился сын, и тогда, когда ему вырезали аппендицит, и когда развелся с женой, и когда похоронил мать. Когда родился сын, он был уверен, что отныне избавлен от одиночества, однако именно в отцовстве и пришлось ему познать настоящее одиночество. Когда ему вырезали аппендицит, он думал, что это ничего не изменит в его жизни, но почему-то после этого возненавидел зелень, которую прежде обожал. Расставшись с женой, думал, что умрет, однако выжил. Похоронив старушку мать, надеялся испытать облегчение, ибо измученный ее долгой болезнью, успел свыкнуться с мыслью о неизбежности ее смерти, однако облегчение не пришло, а через несколько месяцев им, далеко уже не молодым, овладело чувство странной бесприютности и сиротства.

Было во всех этих неожиданностях, и в хороших,

и в плохих, нечто враждебное, постоянно старавшееся доказать ему, что он ничего не понимает. Ни в самом себе, ни в этой жизни. Да он и не пытался понять.

А вот собственный конец полностью оправдал его ожидания. Именно таким он его себе и представлял, словно уже не раз умирал. Как-то в молодости лежал он на кровати, пьяный почти до беспомысленности. Хотел расстегнуть себя ворот и не мог, хотел понять, где находится, что сейчас — день или ночь — и не мог. Хотел вспомнить, где был, как оказался в таком состоянии — и не мог вспомнить. Хотел дотронуться рукой до раскалывающейся головы, но рука не поднималась, пытался разглядеть окружающие его предметы, но они были словно в тумане, хотел уснуть — и не мог, пытался не думать, но голова была набита кружащимися осколками мыслей. Хотел позвать, но губам и языку не удавалось оформить звуки в слова, и они лишь издавали какое-то бессвязное бормотание. Вот тогда и подумалось ему, что такой, наверно, будет смерть, — и она такой и оказалась.

Из кухни доносился какой-то резкий запах. Что-то в умирающем слабо, но упрямо силилось определить, что это был за запах: прокисшего молока или уксуса. Он не помнил, что оставил там, на кухне, пять дней назад, до того, как окончательно слег. Доносились оттуда и звуки: капала вода в кране — равномерно, через одинаковые промежутки. Во всяком случае, еще вчера он точно знал, что это была вода. Сегодня же он то и дело забывал, что издавало эти звуки, и иногда ему казалось, что это тикали часы... Потом часы снова превращались в воду...

С трудом различал предметы. Все они висели в сизом воздухе комнаты и покачивались. Расческа, термометр, две засохшие сливовые косточки, несколько спичек с намотанной на них ватой, половинка лимона, кусочек сахара, желтый стеклянный шар люстры, книги, стол, настенный календарь с нарисованной на нем виноградной гроздью... Но названий и назначения этих предметов он уже не помнил. Названия отделились от предметов и витали в воздухе сами по себе, то появляясь, то вновь исчезая — то ли в пространстве комнаты, то ли в его сознании — ни с чем не соотносясь.

Рядом с подушкой, на пожелтевшей простыне стоял телефонный аппарат. Он повернул голову вбок и стал смотреть на телефонный диск: посередине — большой черный круг, вокруг него — черные цифры на белых кружочках. Когда веки его опускались, в самый последний миг, прежде чем они смыкались с обрамленными выцветшими, короткими редкими ресницами нижними веками, диск превращался в цветок. Он делал над собой усилие и снова открывал глаза — появлялись черные цифры на белых пластмассовых кружочках.

Цифры были единственным, что он еще помнил. Но иногда удивлялся, почему их в этом кругу десять, а не двенадцать.

Совсем маленьким научился он писать цифры. Еще до того, как пошел в школу... Цифры у него получались красивыми, буквы — некрасивыми. И потом он всю жизнь имел дело с цифрами, только с цифрами: складывал, вычитал, делил, умножал... Крестик, черточка, двоеточие... С ними всегда все было понятно. Те же сферы действительности, где не нужны цифры, постепенно сужались для него, теряли смысл. Ведь: что такое слово? Слова? Выразить чувства словами он не смог бы, словам не верили, словами лгали, ни разу не удалось ему внести словами ясность в жизнь, во взаимоотношения. Словами предметы не создавались, так какой же смысл было их произносить? Слова были источником неясности, недоразумений, хаоса. Скажешь одно слово — и тут же потребуются еще десять для его разъяснения. Давно почувствовал он их бесполезность. Произносить их следовало разве что лишь для соблюдения приличия. А так ведь все вокруг существовало в виде цифр. Даже цветок: четыре лепестка, десять тычинок, столько-то дней или часов жизни...

Жизнь соткана из цифр, она — океан цифр. Они часто представлялись ему в виде нескончаемо длинных рядов, словно вьющиеся растения, обвивающие предметы, тела, здания, его руки и голову, как солдаты, колоннами шагали по бумаге, число их все возрастало, они множились... И это радовало его, радовало и то, что эти колонны в конце концов превращались в предметы: счетные машины. Роботы или компьютеры. Железные существа. Разумные. Сколько спокойствия,

порядка и определенности несли они с собой в противовес смутному, непонятному, хаотичному миру чувств. Если бы люди были похожи на них, — часто думал он. Созданные им мыслящие машины стояли во многих уголках города, наводили порядок в жизни.

Теперь эти колонны рассеялись и, подобно пылинкам или молекулам, клубились в его затуманенном мозгу, как раненые солдаты в мутнеющих глазах умирающего полководца. Роились цифры и обрывки цифр: половина тройки, безголовая единица, безногая четверка, беспалая семерка, бесхвостая двойка... Их головы, палки, ноги, хвосты вращались отдельно, сталкивались друг с другом, соединяясь в причудливые двойки с палочками, хвостатые семерки и двухголовые шестерки...

Телефон молчал целую неделю. Впрочем, он и не знал, кому бы он мог позвонить... До последнего дня стеснялся беспокоить сына, овдовевшего друга или сестру, страдающую тромбозом... Когда силы совсем оставили его, чувство неловкости прошло... Но теперь он уже не мог вспомнить ни одного номера телефона, да и набрать номер был бы не в силах. Последними его покинули цифры, предали его, разлетелись, и случилось это вчера, когда холод в ногах поднялся выше колен... Тогда он сделал над собой невероятное усилие и стал не отрываясь смотреть на телефонный диск, силясь восстановить в памяти цифры в их привычном виде. Это успокоило его. Но потом почему-то большое расстояние между нулем и единицей стало раздражать и вскоре превратилось в источник настоящего страдания. То, что ноль стоял так далеко от единицы, непонятно терзало какую-то часть его обессиленного существа. Почему эти цифры не рядом, зачем оставлена пустая дуга справа, к тому же еще перехваченная этой маленькой плоской никелевой или железной скобкой? И кому-то внутри его существа раздраженно и нестерпимо хотелось придвинуть ноль к единице, поставить их рядом — так, как стояли на этом кругу остальные цифры. Словно эта их близость излучала тепло. Наконец он не выдержал, к тому же холод продолжал подниматься все выше... Скользнул отяжелевшей трясущейся рукой по ватному одеялу, с трудом оторвал ее и ткнул дрожащий указательный палец с от-

росшим ногтем в пластмассовый кружок с цифрой ноль, потянул его вправо, но не смог сдвинуть с места. Тогда он повернул диск с десятью прорезанными в нем отверстиями влево. Цифры остались на месте. Желтый палец скользнул вправо, натолкнулся на металлическую перегородку и остановился. Рука бессильно упала. Диск со скрежетом вернулся в прежнее положение. Остановился. Этот скрежет отрезвил его. Он сделал над собой усилие, до конца поднял веки и обвел взглядом комнату. Предметы в ней расставились по местам. Задержался взглядом на стакане с водой. Смотрел и не узнавал. У противоположной стены, на низеньком столике виднелся какой-то странный предмет: светящийся шар, окутанный прозрачной бело-розовой оболочкой. Уже не мог догадаться, что это могло быть... Предмет смутно напоминал увиденную из космоса землю или увиденный с земли лунный диск... Как волшебно-красиво было это розовое пушистое облачко, пропускавшее свет, внутри которого лежало что-то круглое.

И где-то в самой глубине души зародилось у него еще одно желание: захотелось в последний раз услышать человеческий голос и самому сказать что-нибудь. Сделал невероятное усилие, дотянулся до трубки, поднял ее и приложил к уху. Звук. Зуммер. Единственный, хоть и безжизненный звук в этой немой, безголосой комнате... Звук этот напоминал непрерывную прямую линию, или же ртутную полоску внутри термометра. Уходящая в пространство, она была единственной тропинкой, соединяющей его с миром. В чуть прояснившемся сознании с трудом, но все же выстроились слова, и он повторил их шепотом, прежде чем громко сказать их тому, кто должен был отозваться на его зов из этого мира: «Здравствуйте. Я умираю. Счастливо оставаться». Снова сунул палец в кружочек с нулем и повернул диск к единице: 01. От слова, раздавшегося в трубке, красным пламенем вспыхнул мозг, едва не испепелив с таким трудом собранную вселенную. Нажал пальцем на рычаг. Прерывистый сигнал, пунктирная линия — эти звучащие минусы расстроили возникший давеча в его сознании словесный ряд, в туманном хаосе стали проступать другие слова, оторванные друг от друга минусами: «Кровь минус солнце». «Солнце минус

сердце». «Слово минус голос». «Глаз минус вода». «Вода минус течение»...

Закрыл глаза. Стало темно. Холод поднялся выше паха, разлился вокруг пупка. Все кончалось... Опять очнулся от вновь пробудившегося желания: сказать кому-нибудь хоть что-то, услышать человеческий голос. Сумеет ли его левая рука еще раз преодолеть этот долгий путь от нуля до единицы? Но ведь на этом пути уже вспыхнул пожар. От единицы пришлось отказаться — и палец переместился с нуля куда-то, на какую-то другую цифру — он даже не видел, на какую. Успел лишь подумать: лишь бы в трубке раздалось «слушаю», а не «алло».

— Двадцать два часа. Десять. Минут, — проскрежетал металлический голос — и железные слогги гвоздями вбились ему в ухо, заledenели в нем.

Трубка скользнула по щеке и легла поперек шеи. Прерывистая звуковая линия слилась с неровным, слабеющим биением сонной артерии.

Предметы совсем посходили с ума и стали летать по воздуху: термометр, ручка от расчески, ее зубья, задохшая сливовая косточка, кусок хлеба... Телефонный диск превратился в цветок с черной сердцевиной и теперь быстро вращался. Потом вращение его замедлилось, и из бесцветной дуги между нулем и единицей выросла, встала во весь рост его мать с распущенными белыми волосами. В руках у нее было что-то, похожее на веревку, которую она бросила ему — это оказалась его вырезанная слепая кишка... Он крепко ухватился рукой за эту теплую плоть, прижал ее к окоченевшему пупку, и мать медленно повлекла его к белой единице... Это было неожиданно, и опять удивление оказалось последним чувством, с которым его проводила ставшая уже привычной жизнь. Впереди мерцала то ли окутанная светящимся туманом земля, то ли лунный диск.

На дворе дул ветер. На балконе, в цветочном горшке с землей, но без цветка, набухало какое-то семя... На кухне капала вода, а в прокисшем молоке барахталась муха.

На стене у кровати, на старой пожелтевшей фотографии на коленях молодой женщины сидел мальчик, и

взгляды обоих были устремлены на лежащего в кровати.

У противоположной стены, на низеньком столике горел ночник, а в его лучах светилось покрытое белой плесенью гнилое яблоко.

Воспоминание


Когда перевалило за пятьдесят, перестал придумывать, целиком отдался воспоминаниям, и выяснилось, что писательство ему мешало. Это оказалось делом, требующим полной самоотдачи.

Сидел и с закрытыми глазами читал книгу своей жизни. Большая часть страниц была под покровом забвения. И как он ни старался, приподнять его не удавалось... Особенно упорно вглядывался в детство, словно смотрел на него в бинокль, стремясь приблизить оставшиеся далеко-далеко, где-то в бездне, лица, предметы и движения — и они появлялись и исчезали, приближались и отдалялись: мама, отец, покойники, собаки, деревья, руки, дети, женщины... Еще крепче зажмурил глаза. Свет мешал видеть их.

Особенно мучило одно видение: чаще других возникавший и исчезающий мужчина, который подхватывал его, совсем маленького, с полу и подбрасывал в воздух с криком: «Летит! Летит!» Видел его стремительно приближавшееся сверху смеющееся лицо, белые крупные зубы, остававшиеся внизу, когда он взлетал ввысь к потолку, затем он так же стремительно летел вниз, а белые зубы и прищуренные глаза оказывались наверху.

Никак не мог вспомнить, кто был этот мужчина и где все это происходило... Потом медленно проступали камышовые заросли и наполнявшее душу тоской и страхом незнакомое озеро... И между ним и тем мужчиной была какая-то связь, но какая — не мог вспомнить... Из всех сил напрягал сознание, силясь вспомнить... и избавиться от этого видения...

Был в доме один и ничего не хотел видеть. Предметы мешали... Но как-то раз, когда глаза его задержались на аквариуме и взгляд погрузился в затененную



зелеными водорослями воду... вдруг всплыли: маленькая, худенькая ручка ребенка, исчезающая в огромном мужском кулаке... и радость ребенка. И когда он поднимал лицо вверх, к небу — высоко над ним была улыбка мужчины: его белые, крупные, как зерна кукурузы, зубы и чуть прищуренные глаза; и постепенно приближались камыши и синевшая за ними гладь озера. Там их ждала какая-то радость... какая — он не помнил... Может, они собирались искупаться?.. Нет, не мог вспомнить. Кто он, этот мужчина? Измучился. Лишился сна. Чем можно было помочь памяти? Они были погребены где-то, в одной из ее пропастей — этот мужчина, это озеро, эта комната... Вспомни он об этом раньше, можно было спросить у мамы или у отца, но теперь их уже не было на этом свете.

Достал старые семейные альбомы. У сестер и братьев, у тетки и у всех еще остававшихся в живых престарелых родственников выпрашивал старые снимки — ему их отдавали.

Подолгу рассматривал пожелтевшие, полустертые лица, руки, одежду... всех этих людей, заселявших ветви и ответвления его родословного древа, не раз, в разное время, появлявшихся у них в доме. Но ни один из них не походил на того мужчину... Рождали сомнения пустые белые прямоугольники в некоторых альбомах — следы вырванных фотографий, отрезанные от некоторых снимков половинки или четвертинки. Сомнения и муки.

Один обнаруженный у старой тетушки желтоватый снимок насторожил. На нем была его мать, молодая, беременная, с усыпанной плодами ежевики или какой-то другой ягоды веткой в руках, улыбающаяся, а рядом с ней — мужчина лет тридцати пяти... Высокий, грустный, он смотрел на мать сбоку. Они стояли во дворе их дома в деревне... Кто этот мужчина? Вроде похож на того... Тетушка же смогла вспомнить только то, что собственноручно сшила маме это просторное платье... Сколько ни просил, сколько ни умолял ее вспомнить, кто этот мужчина — она лишь все сильнее собирала в складки свое сплошь покрытое глубокими морщинами лицо да отрицательно мотала головой: дескать, нет, не знаю!

Смотрел и смотрел на округло выпирающий, обтянутый цветастым платьем мамин живот, где сидел он сам... и на мужчину...

Потом увидел сон: они шли к озеру, только тот мужчина был ребенком, а он сам — взрослым... Он вел счастливого ребенка к озеру и приговаривал: «Вот поймаю я тебе рыбку, посадим мы ее в банку и отнесем домой, хорошо?» И ребенок на ходу подпрыгивал от радости.

Проснулся с мокрым от слез лицом. Он любил этого человека! И надо же, увидел его ребенком! Они любили друг друга, но куда же он пропал, почему его нигде не было — ни в его жизни, ни в памяти...

Нет, надо было еще раз напрямь память и разыскать пропавшего, восстановить его незаслуженно стертое лицо.

И он упрямо возвращался к предметам своего детства, маминым платьям, старым шляпам, к деревне, дороге, деревьям, проселочным дорогам, комнатам... Воображение снова и снова повторяло все это. Но того человека не было нигде, кроме той единственной, какой-то неясной комнаты и берега озера... Что было потом, когда они подошли к озеру?

Утром из находившейся по соседству церквушки донесся колокольный звон... Немного погодя постучали в дверь. За дверью оказался бессмысленно улыбающийся мальчик-родственник. Он протягивал ему прозрачный целлофановый пакет с рыбами. Тетушка прислала. Сегодня, дескать, Благовест и надо обязательно поесть рыбы... Взял большую синюю тарелку, выложил на нее трех мокрых рыбин с окровавленными ртами... Долго неотрывно смотрел на них, провел по ним пальцем...

Потом закрыл лицо обеими руками и опустился в кресло. Медленно проступили камыши и озеро... Он сидел на корточках и смотрел на бившуюся в банке с водой рыбу... «Я сейчас приду», — сказал мужчина и исчез в камышах. Опять пошел за рыбой? Но вскоре вместо него появился отец. «Пошли», — сказал он и взял его за руку. Но прежде чем отец взял его за руку, он увидел, как отцовская рука вытерла о траву окровавленный нож сначала с одной, потом с другой стороны. Отец осмотрел нож, еще раз провел им по

траве, и затем рука вместе с ножом исчезла то ли за пазухой, то ли в кармане.

Он озирался по сторонам. Искал того мужчину. «Он ушел. Больше не придет», — слова выплыли из отцовского рта, банка с рыбой опрокинулась. Рыба забилась в траве. Он все оглядывался и оглядывался назад и плакал...

Снова донесся колокольный звон из церкви. Ему было плохо. Прилег. Попытался заснуть.

«Радуйся, Благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами». Огромные белые крылья ангела, наверно, с трудом вместились в комнату... Принес благою весть девочке, юной и чистой.

Звонили колокола...

Усыпанный цветами, оттопыривался живот на старой фотографии.

«Летит! Летит!» — крикнул мужчина, и он, маленький мальчик, с молниеносной быстротой приблизился к его смеющемуся лицу и на мгновение заглянул в глаза. «Оте-е-ец!» — зазвенел внутри него какой-то голос, голос, рожденный внезапным прозрением: «Отцом был он!». «Летит! Летит!» — кричал мужчина и подбрасывал и подбрасывал ребенка... И он летел вверх, взлетал все выше, не мог остановиться... Дом был без крыши... Приближался к лицу Отца...

Веки плотно прижались к глазам, ресницы застыли.

Перевод Людмилы КРАВЧЕНКО

Река и дракон

(ПОЛУХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕЗЮМЕ МИФОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА)

Каждый из вас, прошедший древнейшими тропами сказок и преданий, не может не помнить распространенную почти по всему миру историю дракона, завладевшего питьевой водой и принесшего столько горя жителям избранного злым роком города. Не забыли вы безусловно и то обстоятельство, что в качестве дани тот дракон требует у повергнутых в горе жителей прекрасную девушку или девушек. И конечно же вы помните, что вся эта история заканчивается благополучно,

а именно: дракон погибает от руки нахрабрейшего героя, который в награду за это получает или принцессу в жены, или всеобщее поклонение горожан, или же он, отказавшись от всевозможных почестей и наград, тайком покидает счастливый город, как это описано, к примеру, в одной из поздних переработок этой темы в сказке выдающегося австрийского поэта Райнера Марии Рильке «Победитель дракона» (поскольку, по убеждению поэта, победить дракона под силу лишь избранным, не признающим никаких наград, отвергающим и красавиц, и поклонение). Напомню вам и то, что рыцарь Георгий, впоследствии Святой, в самом начале своего героического пути сразился именно с таким драконом на берегу озера, где принесенная в жертву чудовищу девушка таяла, как свеча.

Заодно признаюсь вам сразу же, что все мифы, сказки и литературные переработки этой бессмертной темы тщательно мной изучены и сравнены и, Бог свидетель, что к заслонившему собой шумеро-египетские, индо-греческие, японо-китайские или мексиканские, одним словом, евро-азиатские и британо-австралийские источники и реки дракону я привыкла настолько, что уже не мыслю существования без него. И даже порой, представьте, меня охватывает чувство жалости к нему, когда герои разных народов с одинаковой беспощадностью лишают его жизни: перед глазами у меня встает его громадное, покрытое черной сверкающей чешуей гибридное тело: огромная крокодилья голова, непомерно длинный, раздвоенный на конце хвост, мощнейшие крылья-жабры и выпуклые, как стеклянные горы, непостижимые глаза, с застывшей в них, окрашенной его же, драконьей кровью водой, водой, в которой он в конце концов и нашел свою гибель.

«Дался ему этот источник или родник! — говорю я в такие минуты.—И что он в него так вцепился! Как случилось, что у эдакой громадины не хватило мозгов! Надо же было понять, что если отнимешь у людей то, без чего они не могут жить, тебя в конце концов принесут в жертву тому, что ты отнял у них? Надо же было догадаться, что это он сам, дракон, порождает героя, которому и суждено сразить его?!».

На это обычно мой старший друг, безнадежный фаталист, отвечает мне: «Сам родник, сама чистота во-

ды порождает дракона! Разве нечисть не нацелена на то, чтобы погубить святыню?» — и он усмехается. Младший же друг, последовательный моралист, заглядывая в зеркало, говорит: «Родник, ну при чем тут родник? Безнравственность жителей — вот истоки дракона: нечисть рождает нечисть. Это их кара».

Так или иначе, но этого дракона знают все: и стар, и млад, и женщина, и мужчина, и каждый желает ему смерти, когда они, затаив дыхание, бродят по лабиринтам мифов и сказок.

Но, дорогие друзья, то время прошло! Да, да, навсегда прошло то время, когда убивали дракона и жизнь (как, разумеется, и захваченная драконом река) возвращалась в свое прежнее мирное русло, кануло в Лету то время, когда достаточно было всего лишь убить дракона.

И хоть я уже говорила об этом, напоминаю еще раз, что я собрала и сравнила поздние литературные источники и убедилась: дракон, оставив в недрах мифов и сказок у родника или на берегу озера свое уродливое, изрубленное, окровавленное тело, коварно восстал, перешагнув через границу мифического царства, погрузился в поток поздних веков, и несет его этот мощный поток, подобно тромбу, который продвигается с кровью прямо к сердцу! Избрав себе путь всеильной мимикрии, он преобразился до неузнаваемости (во всяком случае, узнаваемым он становится лишь тогда, когда бывает уже слишком поздно). Явную угрозу он облек или запрятал в словесную доброжелательность. И должна заявить вам без обвиняков, что приобретенная им безмерная хитрость замутила рассудок людям разных эпох (что особенно ощутимо в наши дни), я бы сказала, вовсе лишила их рассудка.

Во время сравнительного анализа этого литературно - документального материала я пришла к нескольким основным и в одинаковой мере ошеломляющим выводам:

1. Большая часть литературных памятников (среди них и шедевров) прямо или косвенно касается дракона, захватившего в свои руки источник не только города, но уже и всей страны и даже всего мира (привыкшему ориентироваться в лабиринтах литературной символики сегодняшнему читателю, наверно, не нуж-

но разъяснить, что вода здесь фигурирует не только в значении физическом).

2. В пластах веков (в пространстве мифов и сказок) навсегда запечатлено простодушие дракона, когда он появлялся, нисколько не маскируясь, и, я бы сказала, довольно неуклюже и тупо завладевал принадлежащей не ему питьевой водой. Именно это простодушие и стало причиной его гибели. Но в наши дни дракон является нам уже в совершенно ином обличье, чаще всего в образе того самого героя-богатыря, который убивает его в эпоху сказок (т. е. в эпоху трогательного простодушия).

3. Эта мимикрия дала удивительно противоречивые и сбивающие с толку результаты.

Стерлось зональное разграничение дракона и города, то есть: тут и там (тут — город, там — дракон). Сейчас они находятся на одной территории, следовательно, дракон существует в городе, а город в драконе.

Поскольку он чаще всего принимает образ героя-богатыря, то большая часть горожан истинного героя, — если таковой все же еще существует, — ненавидит, называет его драконом, требует и добивается его смерти. Дракона же любят, видя в нем героя, и молят у Бога бессмертия для него. Большая часть горожан возненавидела даже ту воду, без которой, как нам казалось, не может жить человек.

4. Мимикрия дракона вызвала историческую метаморфозу породы рыцарей, а также опасное сокращение их рядов.

Во-первых, появились драконообразные существа слабого пола, а также рыцари слабого пола.

И что самое главное: на смену острому мечу чаще всего приходит острое перо.

В основном, сидя в своих пещерах (если они у них имеются), рыцари эти со страниц, со сцены, с экрана воспевают то, что порицают и низвергают драконы, и отвергают то, что возвеличивает владетель трона, воды и суши.

Поскольку главное для дракона — низвержение ценностей, то терпения его хватает ненадолго, в ответ на противодействие тайных рыцарей, которые посредством различных каналов подают горожанам отнятую драконом воду, он в конце концов уничтожает их физи-

чески, но отнюдь не как рыцарей, а напротив, как вредителей. (К примеру, одному из таких вооруженных острым пером рыцарей было предъявлено обвинение в отравлении Натахтарского водоема и распространении палочек Коха в районе N затем, чтобы, замучив, лишить его жизни в 1937 году. И решение это народ, принимающий рыцаря за дракона, дракона же за рыцаря и за подателя воды, встретил громом рукоплесканий).

5. а) Дракон бессмертен (загляните в книги и в века: исчезает один, появляется другой и лишь после смерти каждого из них говорят: «дракон», мол, и «изыди!»), ибо в отличие от эпохи сказок, где он появлялся извне, сейчас, в наши дни, он вырастает из набухающих в ночи людских сердец-семян как общий плод их, как их идол. Следовательно, дракон бессмертен (во всяком случае до Судного дня, поскольку в Евангелии ясно сказано, что ангелам предстоит в тот день сразиться с ним, вступить в беспощадный бой до окончательного его поражения, дабы в новом городе засверкала човая, т. е. хрустальная река).

б) Пока же происходит уподобление друг другу: дракона, последователей дракона и их лже- или же слабых противников.

в) Исходя из этого следует думать, что дело уже не в самом драконе, а во всех.

г) В том случае, если в борьбе с драконом рыцарский род (имеются в виду рыцари, сражающиеся с пером в руках) вымрет, или, что и того хуже: горожанам окончательно опротивеет отнятая у них вода, если у них вообще исчезнет чувство жажды и они явно или тайно поставляющих им воду рыцарей станут воспринимать как врагов, то в недалеком будущем заглухнет борьба противоборствующих сил, все мы превратимся в драконов (от тех же, кто не превратится, нетрудно избавиться) и борьба уже будет вестись внутри подобий, т. е. между драконами.

После этих реалистических и мало обнадеживающих выводов (с чем энергично соглашается мой старший друг и возмущенно непримирим младший, неприязненно относящийся к прогнозированию будущего в рамках рационализма), представьте себе, мне стало значительно легче встать лицом к лицу с жизнью и в ошеломляю-

щем водовороте событий сохранить трезвый взгляд на вещи.

Я продолжаю тщательное изучение этого столь насущного вопроса и хронологически расставляю портреты драконов (которые люди вешают на стены и носят на груди), описываю своеобразие их характеров, одежду, их любимые предметы (впрочем, что касается любви, о ней будет сказано ниже), их невиданные деяния, манеру говорить, их награды, знамена, ордена, прославляющую музыку, овации, тексты выступлений и т. п.

Мной произведена проблемная классификация темы, подробно разработаны следующие вопросы: «Дракон и рыцарь», «Дракон и дети», «Дракон и женщины», «Дракон и природа», «Дракон и дракон», «Драконы и их супруги», «Дракон и борьба за светлое будущее», «Дракон и социально - политическая среда», «Дракон и его материальная база», «Дракон и секс» (об этом ниже), «Как распознать дракона?», «Как беседовать с драконом?», «Дракон и страх», «Дракон и Грузия» и т. д. Так что, заинтересованные лица могут смело обратиться ко мне за всевозможными сведениями (между тем, среди близких я приобрела уже славу драконолога).

Должна вам признаться, что с тех пор, как я основательно погрузилась в эту ошеломляющую суматоху, вызванную исторической мимикрией дракона (и в этом, по всему видно, нам суждено задохнуться), — я все более пылко мечтаю о том первобытном чудовище, которое так наивно и простодушно захватило источник. С ним в конце концов можно было хотя бы договориться! Зональное распределение поистине способствовало бы этой договоренности. К примеру, можно было вместо девушек предложить ему собранный урожай! Известны даже случаи, когда несколько прославленных героев (один, например, в Вавилоне) это строптивое и непредусмотрительное чудовище не убили, а напротив, обуздали, превратив его в продуктивно - хозяйственную силу, то есть поставили его на службу народу (что в сегодняшней Дракони абсолютно исключено)! И разве не встречаются нам такие же прирученные драконы и в древнем Китае — Крылатый дракон, волоча по земле колоссальных размеров хвост, указывает путь, по которому следует прорыть каналы для снабжения

населения водой. Или же возьмем древних славян, разве не вырыл им русло Днепра запряженный в плуг огромный змей?! (И разве не по их милости многие древние страны избежали этих бессмысленно и невежественно производимых гидромелиоративных мероприятий, приведших сегодняшней мир к экологической катастрофе?).

Эти говорящие о многом прецеденты древнейшего мира наводили меня на постоянные раздумья и наконец развернули передо мной множество предположений.

Прошу вспомнить, что древний дракон обладал огнедышащей пастью, что является неоспоримым доказательством того, что, хоть туловище у него и змеиное, но, тем не менее, он носит в себе стихию огня (чем создает диспозицию со стихией похищенной им воды), и эта огненность рождает надежду на то, что он, возможно, даже способен полюбить отданную ему в качестве выкупа девушку хоть и дикой, но все-таки пылкой любовью! А теперь давайте вспомним одно замечательное и поразительное явление мира сказок: девушка, преодолев отвращение и ужас, полюбила чудовище, и оно в тот же миг превратилось в прекрасного юношу! Вот именно, господа, здесь берет начало одна значительнейшая гипотеза, указывающая на тайную причину похищения воды драконом: возможно, этому страшному существу невоготу уже было переносить свое одиночество и уродство? Возможно, это безобразное и омерзительное создание страдало от жажды общения с людьми, но задуманное провидением как захватчик, не придумало ничего иного, как отнять у людей питьевую воду. И кто знает, не потому ли тянулся он к реке и к женщине, чтобы как-то унять тот полыхающий в нем огонь? А может, в душе он лелеял образ красивой женщины (которую от одного его вида охватывал ужас), и достаточно было бы капельки нежности и тепла, чтобы растопить его сердце и чтоб он покорно, как буйвол, подставил свою голову под людское ярмо, как это произошло в одной из стран?

О том, что подобные подозрения и предположения появились не только у меня, свидетельствуют говорящие о многом иносказания в сказке более позднего, уже упомянутого мной, интерпретатора этого мифа — Р. М. Рильке: «...чем прекраснее становилась принцесса, тем сильнее тянулось это страшное чудовище к ней,

ибо существует какая-то тайная связь между безобразностью и красотой... Но только не следует понимать это так, будто чудовище относилось враждебно к юной принцессе, точно так же как нельзя обвинять смерть в ее враждебности к жизни... Кто знает, возможно, этот огромный и неукротимый зверь, подобно преданной собаке, растянулся бы у ног девушки и, лишь опасаясь омерзительности собственного языка, удержался бы от того, чтобы не лизать ей руки. Но кто посмел бы устроить ему это испытание!»

Именно все это и заставляет меня думать, что величайшая ошибка наидревнейшего мира — это убийство дракона!! Его, наверное, следовало укротить и приручить! Как это сделали некоторые герои в недрах веков.

Вот именно эта чрезмерная поспешность с применением физической силы и оружия уничтожила иной путь: путь духовной победы над злом. И нам, человечеству поздней эпохи, приходится отбиваться от нового поколения драконов, свернувшихся в клубок в человеческом теле и хватающих своими клешнями то одну, то другую часть земного шара.

И еще: после гибели первобытных драконов поразительное размножение их мне хотелось бы символически объяснить драконьей кровью, окрасившей воду в реке. И смывает кровавая та река древнейший город, течет сквозь столетия, омывает и этот наш век и заражает извечный микроб, алкающий воды, — род людской, вызывая в нем стойкую и продолжительную эпидемию драконности: размножение драконов в микро и макро, то есть национальных, государственных и почти в континентальных масштабах.

И еще одно, касающееся любви: если первобытные драконы, как уже говорилось, содержали в себе стихию огня, следовательно, носили огонь внутри себя, то есть в глубине сердца и плоти (что создавало им потенциальную возможность выражения пламенных чувств по отношению к красивой женщине), то известные драконы последующих времен содержат в себе разновидность воды — стихию льда, угрожая миру сердце оледенением, и огонь уже фигурирует у них лишь в виде огнестрельного оружия (автоматов, танков, бомб, лазерных лучей и прочего). Как уже известно сегодня, они начисто лишены пылкости чувств, способности к



любви (даже в отношении самых близких им людей, членов семьи), чисто мужской воспламеняемости! Они лишены способности духовного оплодотворения, созидания во благо и могут лишь разрушать и уничтожать, называя это «спасением и созиданием». И поэтому в одном из мировых шедевров («Фауст») дракон этот изображен бесплодным и бессильным. (Предметом отдельного изучения являются бездушные, псевдонаучные и политические труды драконов, истинно милитаристские сочинения и юношеские случайные лирические отклонения в сторону переплетенных друг с другом роз и фиалок, певчих птиц или достойного расцвета «любимой отчизны»).

И представьте себе все масштабы этой несправедливости! Если к тому, потенциально способному превратиться во влюбленного юношу, дракону насильно волокли вопящую и причитающую девушку, чья, пусть даже малая доля любви превращала того дракона, кто знает, если не в красавца-юношу, то хотя бы в положительную хозяйственную силу, то в наши дни к этим драконам с ледяными глазами, душой и сердцем устремляются неистовые массы возбужденно-восторженных, обезумевших женщин! Они целуют их следы, их памятники, падают перед ними ниц, носят на груди их портреты, готовы как святую реликвию растаскать на кусочки их одежду или же пряди волос, щетину усов и т. д., и тут же следует добавить, что сжигаемы они неразделенной страстью. Поскольку драконы питают к ним такую же холодную каменную «любовь», какую может питать монумент к своему постаменту, купол их оледенелости неспособен хоть чуточку оттаять от дрожащего, взмывающего вверх пламени всеобщей страсти (но вместе с тем не надо забывать и т. н. «объективную причину» этого явления: как известно, в современном мире, особенно в задыхающихся под гнетом дракона краях, наблюдаемая неуклонная феминизация сильного пола и, соответственно с этим, растущее одиночество, а то и вовсе маскулинизация слабого пола, оставляя нерастраченным весь запас любовно-интимной энергии, дает ей один-единственный выход: путь к массово-психологическому акту и экстазу с перевоплотившимся в отца народов, в путеводителя, в вождя и героя, драконом).

Да, друзья мои, ко мне, прошедшей по бесконечной генеалогии драконов, по темным коридорам их пантеонов, ко мне — многоопытному гражданину государства, стонущего под гнетом мощнейшей династии чудовищ, — часто обращаются с вопросами сограждане и по сей день просят разъяснения некоторых тезисов моих нелегально распространённых очерков. К примеру, их интересует, почему лицемерят друг с другом дракон и народ? (Что было абсолютно исключено во времена первобытных драконов). Почему низвергает дракон своего предшественника? Как называется болезнь народа, истово возвеличивающего дракона, в свою очередь тоже возвеличивающего народ, но при этом уничтожающего его? И так далее. Я же во власти безмерной печали и перенапряжения (перед глазами у меня огнедышащая пасть, огромные крылья-жабры, китель или генеральский мундир, «галифе» цвета хаки, чёрный пиджак, кожаная куртка, чёрные усы или ещё более чёрная трубка, проклятое пенсне, характерный взмах правой руки, быстрые юркие движения обеих рук, старческие складки на лице, двойной подбородок, странные пятна или смятая фуражка в руке) что могу им сказать?.. На этот раз даю (не знаю, насколько и для кого приемлемые или обнадеживающие) ответы лишь на два вопроса:

«Что делать?» — таков первый и чаще всего задаваемый вопрос.

Друзья мои, тут я ещё и ещё должна повторить вам извечный ответ:

прежде всего нам надо обнаружить, распознать и преодолеть своего дракона, то есть то существо, которое барахтается в ледяном ядовитом озере, во мгле наших же сердец, ибо оно есть чёрное семя, из которого прорастают могущественные драконы, набрасывающиеся на нас уже извне.

«Как узнать дракона?»

По льду в его (между прочим, безрадостном) голосе и глазах, и холодной ностальгии по горячей крови (которой суждено пролиться).

1988

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ





* * *

Я слышу: деревья запели —
готовят зеленый наряд, —
а ветки,
как птичьи качели,
у дома
шумят и шумят.

Вот-вот
разрумянятся вишни,
пускаются воды
в бега...
И мне притворяться
излишне:
как ястреб, паду на снега!

Я руки целую каштану,
я целыми днями
не сплю,
я снова, пока не устану,
как пшавская речка,
бурлю.

Шагами измерю раздолье,
которое дразнит,
маня, —
и пестрою вышивкой поле
по-царски одарит меня!

Кавказу я кланяюсь
в ноги...
Уйду — не найдете
концов!
Мне нету обратно дороги.
Не надо. Не шлите
гонцов.

* * *



Когда на твоём берегу
сизу и тебя стерегу, —
волна меня кутает шалью,
чтоб не захлебнулась печалью.

Вздывается море в тоске,
как будто бы чуя погоню...
Волна
на горячем песке
раскрылась огромной гармонью.

Застывшая на берегу
я жить без тебя не могу.
Приди же! А иначе вскоре
сама обезумею, как море.

Приди! Ни упрека, ни жалоб
не выроню — сердце, молчи.
...Ты — море,
в котором я стала б,
как солнце, покоить лучи.

* * *

Прежде я была угрюмой,
как заснеженный хребет.
Мрачною дышала думой
и не верила
в просвет.
Мне в холодной этой
мгле
даже луч
казался плеткой...
Независимой походкой
я шагала по земле!
Не расслышат
недотрогу
ни гора, ни человек.
Отвергавшая подмогу —
я проваливалась
в снег.



...Но отныне — все иначе,
все по-новому, не так.
Отдаюсь тебе,
вожак,
и захлебываюсь в плаче,
и цветные вижу сны,
изнывая от весны!
Как взбурлившая река,
размываю берега.
Эта жизнь — завершена.
Начинается — иная.
Я иду к тебе,
не зная,
чем окончится она.

* * *

Слава женщине и старику,
чьи мосты — толщиной с волосок,
кто удачи не знал на веку,
но озлобиться все же не смог, —
кто не хлебом — надеждами сыт,
кто на этой земле одинок,
кто любовью не ласкан, а бит, —
но с любовью расстаться не смог...
Слава женщине и старику,
кто от счастья отрезан межой,
кто затерян иголкой в стогу,
но победою счастлив чужой, —
кто умеет и плакать, и петь,
и — как солнце — тепло излучать,
кто способен обиду стерпеть
и на ближнего не накричать!
Слава женщине и старику,
кто, шагая по отчим местам,
молодеет на пестром лугу
и опять предается мечтам, —
кто умеет свою доброту
расточить, разбазарить, раздать...
Слава тем, у кого на роду —
несмотря ни на что, сострадать.

Опять, опять
в рассвете сил
я плачу, как больные дети...
А вдруг я полила кизил,
что мне готовится
на плети?

А вдруг,
уже давным-давно
в неразуменьи одичавши,
я порчу сахаром вино,
которое мне пить
из чаши?

И — продаю земли кусок,
где погребут меня
без славы...
Сжигаю мост,
а видит Бог —
меня он спас бы
от облавы!

Лицо горит — сей пламень лют.
Не вымерить
моей печали...
Живые меркнут,
а встают
ушедшие на пьедестале.

Запутанны мои пути,
заслуженны
мои утраты.
...Я в жизни
не смогла уйти
от бешеного бреда правды!

Перевод Татьяны БЕК

ЧИМГА



Вот и Чимга,
и к лазури
горы взметнулись иплыли.
Встав на дороге, хевсуры
наших коней осадили.

«Вам не найти для привала
лучше лужайки, чем эта».
Мы допоздна пировали.
Я не спала до рассвета.

В небе мильон головешек,
пеплом подернувшись, тлели,
и на костер догоревший
облако шло из ущелья.

Снова я вижу вершины,
отблески снежных закраин,
лошадь на склоне.
И в жилах
кровь,
словно речка, играет.

Я вспоминаю
звериной
дикой горы разномастье,
небо и прочерк орлиный.
...Мне ль не даровано счастье!

Перевод Генриха ВАРДЕНГИ



Габриэлу Джабушанури

В ночь, когда ветер стихает устало,
 Город слепит голоногим свеченьем.
 Улица свет фонарей обкатала,
 Точно река — непрерывным теченьем...
 Мрак одинокий стучится в ворота,
 Дырка — что дудка в кармане — с присвистом,
 Если ж тебя одолеет зевота,
 Жизнь просвистишь этой полночью мгlistой!
 Был тебе солнечный мир отчеканен —
 Но запрудили туманом долину
 До бездорожья,
 И крест (или камень?)
 Чей-то чужой взгромоздили на спину,
 Спрыснули рябью печали речною...
 Ливнями с кручи святого Давида
 Плачешь о солнце за горной стеною:
 В плаче — надежда на то, что обида
 Схлынет, омыв то, что минуло-было
 Было-прошло многоточием слезным,
 Что миновала гроза, не убила,
 (Гром отгремевший не кажется грозным)
 Ветры всплеснули зарницею алой
 Мира иного, наш мрак осеняя...
 Быть тебе впредь звонарем-зазывалой,
 Солнце заманивая, загоняя...
 Тучи клубятся — как сок винограда,
 В квеври полуночном ощупью бродит.
 Время медовое с привкусом яда,
 Как говорится, «...уходит, уходит!»

* * *

Кто выгнал вас, поля бездомные,
 Туда, где снег и ветер бесятся,
 Когда бы мог вас в ночи темные
 Пригреть в дому до марта месяца?..

Вас, тополь, вас, платан худеющий,
Жильцов сквозной сырой обители,
Весь мир предзимний, холодеющий
Зову к себе, как сын — родителей!



Перевод Ирины ЗНАМЕНСКОЙ

Осень

(Фрагмент)

Целых два месяца
Ветер метет
Листву по земле,
А на горных вершинах видны уже
Белые колени зимы...

Воспоминание о друге

Все тебя позабыли.
Забываю и я.
Но когда на улице
В незнакомом бродяге
Обнаруживаю твои черты
(Как давно тебя нет),
Сердце мое обливается кровью!..

* * *

Безысходность.
У перекрестка
Надпись:
Направо пойдешь — погибнешь.
Налево пойдешь — погибнешь,
Прямо — все та же участь.
А за спиной, ты ведь знаешь,
нет ничего, только пустота,
словно пропасть.

Город из слез

Не слышно песни твоей...
Ведь живешь ты
В городе слез.
Улицами слез,

Домами слез
Наполнен твой город.
Бубенцами слез
Зазывают его проспекты далеких путников.
Из пролитых слез
Даже покрышки автомобилей,
Которые развозят повсюду
Твою печаль...

Не слышно песни твоей!

Перевод Александра МАКАРОВА-КРОТКОВА

Неоконченная акварель

Испуганный жираф —
Луна пятнистая —
Ночными улицами проплывает,
Двигается, изумляясь
Своему отражению в окнах.

* * *

Осень пропитывается туманом,
Дни пропитываются печалью,
Листьями медленно облетают...
Чья безнадежная грусть?
Чей бездомный ветер?
Чьи проливные слезы?
Холод озябшего сердца?

Лето мое перелетное,
Прощай...

Перевод Лены ЛОВЕР

Спасенный дуб или известная параллель

С каждым годом
твоя свобода
больше походит на одиночество.
Живешь и знаешь —
скоро и твои вены
вскроет холодное лезвие топора.

Перевод Александра ОРЛОВА





Тенгиз ЧХАИДЗЕ

БЕССМЕРТНАЯ ДУША

Григол Робакидзе (1880—1962) — универсальный тип художника: он поэт, прозаик, драматург, эссеист, критик. С его именем связано возрождение мифа в литературе XX века. Сам писатель свое художественное творчество характеризовал как мифический реализм. Роман его «Змеиная рубашка», изданный отдельной книгой в 1926 году, вышел в переводе на немецкий язык в 1928 году с восторженным предисловием Стефана Цвейга. Пьеса Гр. Робакидзе «Ламара», в постановке известного грузинского режиссера Сандро Ахметели, имела на театральной олимпиаде в Москве в 1930 году огромный успех и заслужила высокую оценку как советских, так и зарубежных театральных специалистов. В 1931 году Гр. Робакидзе был вынужден эмигрировать. Жил в Германии (где в молодости получил высшее образование), после войны — в Швейцарии. В некрологах, опубликованных в западной печати в связи с кончиной писателя, а также в некоторых немецких литературных энциклопедиях, Гр. Робакидзе причислен к классикам мировой литературы. Его называли «аристократом духа», визионером, «магом слова». Все свои основные произведения Гр. Робакидзе создал на грузинском языке, писал также на немецком и русском языках. Был знатоком и ценителем русской культуры, с видными представителями которой имел дружеские отношения. Роман «Убиенная душа» вышел в Германии в 1933 году (русский перевод опубликован в журнале «Дружба народов», № 4, 1990 г.). Предлагаемая статья опубликована в журнале «Мнатоби» № 4, 1990 года.

Немецкий писатель Рудольф Карман в своей замечательной статье «Григол Робакидзе и возрождение мифа» трактует основную мысль «Убиенной души» следующим образом:

автор раскрыл перед европейским читателем сущность ^{большевизма} и воссоздал «мифологический образ» своего ^{антипода} — Джугашвили-Сталина (журн. «Беди ^{Картлиса}», № 47). Подмечено верно. Но это — лишь верхний ^{пласт} романа. На этом уровне поэтики и содержания «Убиенная душа» — памфлет (так же, как и «Бесы» Достоевского). В романе есть и нижний пласт: мифологическо-мистериальная линия. Главные герои — Ната и Тамаз — осмыслены как реальное воплощение в конкретно-историческом времени ассирийско-вавилонских божеств Иштар и Таммуза. Ната жертвует собой ради Тамаза (жертвует в моральном плане — своей честью, достоинством ради спасения возлюбленного). Подобные же оскорбления терпит и Иштар, когда, спустившись в преисподнюю, ограбленная, нагая предстает перед ее повелителем. Муки Тамаза — те же муки Таммуза (идентификация персонажа романа и мифологического первообраза подчеркивается и сходством имен). А «Таммуз (Думмуз) — самый трагический персонаж в мифологии Междуречья» (З. Кикнадзе). Между двумя упомянутыми выше пластами протекает исполненная трагизма жизнь главного героя — Тамаза Энгури. Существующая действительность (политико-идеологическая система) оказывает сложное (явное или подспудное) влияние на психику героя и его личную жизнь, создает опасность краха и внутреннего разлада. Душевные муки героя выходят за грань личного и воспринимаются как космическое явление, как боль самого Всевышнего.

Грузинская литература двадцатых годов показала, какая судьба постигла в новой исторической действительности тех, кто ранее находился «в стане избранных» (выражение М. Джавахишвили), как раздавило «красное колесо» бывших князей и дворян. Одних уничтожило и духовно, и физически, других превратило в бывших людей. Новое сословие, пришедшее к власти, отвергло всяческие компромиссы и беспощадно расправилось с прежними привилегированными классами. Михаил Джавахишвили и Константинэ Гамсахурдиа вывели героев, которые по своему социальному происхождению поневоле оказались противопоставлены новой действительности. Герой Гр. Робакидзе иного толка. Тамаз Энгури (это литературный псевдоним протагониста романа), сван по происхождению, не имеет ничего общего со старинными знатными родами; похоже, он сын простого народа — человек со здоровой, не отягощенной грехами предков психикой. Впрочем, он получил образование в Европе, словом, рафинированный интеллигент.

Его внутренний конфликт с новой действительностью, его духовный трагизм не менее остр, нежели конфликт представителей «уходящего» класса.

Правда, еще Мих. Джавахишвили образом Гиви Шадури внес определенный диссонанс во всеобщую гармонию, которая царила тогда, когда речь шла о судьбе простого человека. Гиви Шадури — простой рабочий человек, но «красное колесо» так же слепо и беспощадно подминает и его, делает таким же несчастным, как какого-нибудь князя, все потерявшего в новой жизни. Причины, понятно, разные (Гиви Шадури погибает из-за бесчестного человека — следователя, олицетворяющего новую власть), результат же в сущности тот же. Превратиться в бывшего человека — такая участь уготована и бывшему князю, и простому рабочему. И тем не менее М. Джавахишвили и Гр. Робакидзе по-разному подходят к этой проблеме. Острый взгляд М. Джавахишвили срывает покров лишь с одной темной стороны жизни. Не встретится Гиви Шадури безнравственный следователь, который во зло использовал свое служебное положение, он по-прежнему был бы счастлив, спокойно прожил бы жизнь, окруженный любовью близких, не предъявляя ей никаких претензий. Гр. Робакидзе ставит проблему куда более глубокую. Его по-своему уникальный, удивительно сильный художественно-критический анализ действительности, каковым является роман «Убиенная душа» — анализ многосторонний, можно сказать, всеобъемлющий, универсальный. Коллизия или конфликт, переживаемый Тамазом Энгури, критическое видение окружающей действительности, интенсивное познание ее — это не только выраженная в форме романа художественно-философская критика политической структуры, господствующей идеологии и культуры (то есть, пролетарской идеологии и культуры), но вместе с тем и художественно-философский анализ на более глубоком уровне, а именно, онтологическом, на уровне понимания сущности бытия.

Что главное в этом романе, что выдвинуто на передний план? Судьба личности, ее духовная драма и трагизм или художественно-критический анализ существующей системы, показ ее внутренней сущности? (Сейчас мы называем эту систему «автократией», «тоталитарным режимом», хотя вернее было бы, следуя исторической правде и точной политической терминологии, назвать ее большевистской или же левой диктатурой). Что же главное в «Убиенной душе»: как подавляют или что подавляют? Является ли образ главного героя лишь

поводом, средством выявления сути определенного политического режима или же он имеет собственную художественно-эстетическую ценность, исходное значение?

Через несколько десятков лет после опубликования «Убиенной души» Александр Солженицын создает свой рассказ — «Один день Ивана Денисовича», в котором показано, как унижают, топчут человека (попавшего в т. н. «исправительно-трудовой лагерь»). Личность главного героя — Ивана Денисовича — вызывает в нас симпатию и сочувствие, ибо это человек, несомненно, наделенный внутренними достоинствами: бесхитростный, тихий, трудолюбивый, и пребывание его в заключении само по себе выглядит как несправедливость. «Архипелаг Гулаг», напротив, фундаментальное художественно-эссеистско — правовое исследование системы тоталитарного подавления человека, огромная панорама тюрьмы. На примерах множества судеб в различных вариациях показаны ужасы девяти кругов ада. Автором использован обширнейший документальный материал. Приводится множество фактов (ведь автор писал о происшедших событиях). Но герои этих событий обычно промелькнут перед нами и исчезают. В «Гулаге», преимущественно, дан горизонтальный срез действительности, оставляющий ощущение необъятного пространства. Гр. Робакидзе в своем романе предпочитает строго вертикальный глубинный срез. Он следует магистральной сюжетной линии — жизни главного героя — и с целью более полного выражения сути анализируемого явления создает лишь одну дополнительную параллельную линию (Берзина). Жизнь героя, его духовная биография и анализируемая политико-идеологическая структура тесно переплетены, взаимосвязаны друг с другом. При чтении «Архипелага Гулага» часто создается впечатление, что существующий строй не имел противников, все были преданы ему. Те же, кого наказывали, либо были безвинны, либо виновны в незначительных проступках. А гигантская карательная государственная машина действовала все более самоцельно, к тому же изолированно от общества.

В этом смысле Гр. Робакидзе проявляет более глубокий подход к анализируемому явлению. Во-первых, он докапывается до исторических корней явления (замечания Тамаза Энгури по поводу «Бесов» Достоевского. Интересна аналогия, проведенная между романной реальностью и реальной действительностью, в которой живет Энгури). В то же время он видит, как тесно переплетены между собой ГПУ и общество (ГПУ — переходная ступень между прежним ЧК и соз-

данном позднее государственным Комиссариатом внутренних дел). Почти все были охвачены истерической страстью размежевания с врагом, общество было отравлено и больно — следили друг за другом, шарили друг у друга в душе, доносили... Гр. Робакидзе вскрывает суть противоречия. Он прямо и честно заявляет (отражая позицию своего героя), что дело в двух совершенно различных подходах к пониманию смысла жизни, двух совершенно различных правилах жизни. Цель его обличительно-критического пафоса не в том, чтобы убедить нас, что обвиняемый лоялен к существующему режиму и совершенно невинен, но в том, чтобы показать, что подсудимый — носитель более высоких духовных ценностей, чем судья. Попираются, в первую очередь, свобода слова и мысли, без чего невозможно существование личности, «этого наиболее священнейшего явления» (Гр. Робакидзе).

Различны и исторические взгляды этих двух авторов. Мишенью Солженицына по преимуществу является историческая личность, ее персональная ответственность (здесь проявляет себя принцип: явления определяет личность, ее персональная воля). У Гр. Робакидзе более глубокое видение, более верное понимание общественно-политических явлений. Он также заостряет внимание на вопросе персональной ответственности, но, согласно его взглядам, первично явление, отдельная же личность, обладай она даже неограниченными правами, вторична, подчинена самому явлению.

Личность — сильная, цельная, гармоничная, стоит в центре творчества Григола Робакидзе вообще и «Убиенной души» в частности. Тамаз Энгури — литературный герой именно такого духовного строя. Он существенно отличается от созданного писателями критического реализма XIX и частично XX веков литературно-психологического типа, в основе которого лежит развитие характера, диалектика души и духовно-нравственные поиски. Характер героя Гр. Робакидзе уже сформировался, он уже приобрел те черты, которые должен был приобрести, и суть проблемы в том, чтобы защитить это приобретение — уникальный внутренний мир от посягательств внешней силы и жестокого насилия. Тамаз — поэт, он призван приобщать и других людей к своим духовным ценностям. Защитить их от силы, грозящей им уничтожением, для него вопрос жизни и смерти.

Что же это за ценности?

Ответ на этот вопрос в основном дает первая же глава — «Разочарование». В ней отражены две противостоящие друг

другу точки зрения: официальной стороны и Тамаза Энгури. Рассматривается киносценарий, рассказывающий о жизни хевсуров (Тамаз работает в сценарном отделе Госкинопрома). Сценарий — пропаганда атеизма и материализма. По мысли же Тамаза Энгури, главной духовно-нравственной опорой для человека является Бог (Бог — как Отец Всевышний). Сценарий неприемлем и по другой причине. Старейшина рода выведен в нем лжецом, человеком, обирающим народ. История изуродована, оболгана; нравы и обычаи древнейшего племени, его святые традиции увидены и оценены с позиции классовой борьбы и вульгарного материализма. А для Тамаза Энгури традиции предков, их вера и внутренняя целостность — самые что ни на есть национально-культурные ценности. Он пытается по мере возможности помешать утверждению сценария в существующем виде. О явном сопротивлении, разумеется, не может быть и речи. Высказать мнение, противоречащее официальной идеологии, равносильно враждебному выпадку. И тут постепенно начинает звучать мотив сомнения, недоверия, безликого, неясного страха. Тамазом овладевает чувство, будто кто-то постоянно наблюдает за ним, заглядывает в душу, копается в ней, фиксирует каждое слово, каждый шаг. Все учитывается и хранится. И этот невидимый соглядатай — ГПУ.

Даже сферу интимных чувств нельзя защитить. В перерыв Тамаз выходит во двор киностудии и читает в стенгазете содержание разговора, который произошел у него несколько дней назад с одним знакомым. Разговор шел о любви. В результате знакомый публично высмеял взгляды Тамаза — какое время говорить о романтической любви и тому подобных глупостях; пролетариату не нужны мечтатели... Человек не вправе свободно высказаться даже по столь деликатному вопросу — идеологизирована и эта сфера.

Сомнения, неясный страх стали общим явлением. Тамаз читает в московской газете заметку: известный московский поэт с опозданием шлет партийному главе телеграмму с соболезнованием. Дело в том, что в коллективной телеграмме подобного содержания пропущена его фамилия. Никто не заставлял его отправлять телеграмму от себя лично, никто не наказал бы его, не сделай он этого. Но могло ведь случиться, что отсутствие его фамилии в коллективной телеграмме заметили бы? И тут осторожность, подсознательный страх...

В начале романа описывается небольшая, но примечательная сцена. Тамаз берет в руки хлеб, привезенный из де-

ревни знакомым крестьянином. «О, махобела! — воскликнул обрadowанный Тамаз. Это был особый вид грузинского хлеба. Тамаз любил этот пахучий, голубоватого цвета хлеб. Он взял одну буханку, вдохнул его аромат и почувствовал себя преисполненным благодати Земли. Стоял, растроганный, и представлял себе темное лоно пребывающих в ожидании земных пластов, руку сеятеля, посылавшего семена на смерть и возрождение, их прорастание, цветение и созревание, представил себе косьбу, зерно сначала на току, затем под мельничными жерновами и, наконец, выпеченный, дымящийся хлеб. Этот хлеб был теперь для него живым олицетворением мифа о Деметре». Здесь указан еще один исток конфликта с новым порядком жизни. Для Тамаза Энгури земля — одушевленное, живое существо. Его мироощущение хранит память о том отношении к земле, которое было у крестьян испокон веку. По представлениям древних, это были взаимоотношения любящих супругов; земледелец оплодотворял чрево земли. Об этом свидетельствует и мифология Междуречья (взаимоотношения Таммуза и Иштар, их интимная связь есть в то же время и сакральный акт, оплодотворение земли сеятелем). С новым порядком жизни на глазах у Тамаза меняется и содержание древнейшего отношения к земле. Отныне на землю смотрят глазами потребителя. Ее насилюют, происходит отчуждение от нее крестьянина. Этот процесс, выраженный курсом коллективизации, остро переживается Тамазом.

Таким образом, в романе выявляются четыре основные ценности, проявляется отношение к четырем основным духовно-нравственным категориям: отношению к Богу, национальной истории, к земле, к женщине. В дальнейшем к этому добавляется еще одна ценность — друг, духовный брат и отношение к нему.

В первой главе романа, где авторское повествование сливается с мощным эссеистским потоком, своего рода проявлением наблюдений, мыслей и чувств героя романа, двойника автора, служащим для характеристики атмосферы, царящей в обществе, еще только намечаются, предстают в зародышевой форме то внутреннее противоречие, тот внутренний конфликт, которые, развиваясь и углубляясь, впоследствии достигают кульминационной точки. В этой своеобразной увертюре как бы музыкального произведения, своего рода симфонии, наряду с лейтмотивом драматически-трагичной судьбы героя и темой безликого страха, звучит и мотив непокорности судьбе. Это — сцена укрощения коня. Тамаз останавливает коня, который

носится по двору киностудии, никого к себе не подпуская. Эта сцена — художественная парабола; укрощение взбесившейся лошади — своего рода схватка героя с судьбой, в этой схватке проявляются его твердая воля, духовная и физическая сила. Мотив непокорности судьбе, борьбы с ней постепенно звучит все громче, боль героя усиливается, и в финальной сцене его беззвучный, душераздирающий стон, мольба, одинокий голос, непокорный и резкий, как бы сливается со звучанием оркестра — всей окружающей природы.

Вторая глава романа, которая называется «Вечная женственность», на первый взгляд, лишь внешне связана с первой главой — сюжетная линия вновь следует за главным героем. Тамаз на несколько дней едет в Коджори повидать Нату. В действительности же между этими двумя главами существует тесная связь, основанная на внутреннем, контрастном противопоставлении. В первой главе авторский взгляд прикован, в основном, к внешнему миру. Описывалась эмпирическая действительность. Человек встает утром, бреется, завтракает, идет на работу, там принимает участие в обсуждении проекта сценария, читает газету. Картина обычной повседневной жизни, поверхностное ее отражение. Во второй главе взгляд направлен во внутренний мир человека. Увидены глубины этого мира, извлечено на свет невидимое его богатство. Поверхностному восприятию жизни в первой главе противопоставляется понимание ее как тайны и Божественной благодати. — во второй. Мизансцена внешне проста. Полдень. Палящее солнце. В тени орехового дерева на ковре лежит Ната, рядом — Тамаз. Он читает. Мизансцена остается неизменной почти до конца. Но здесь развернут удивительный анализ внутреннего мира молодых мужчины и женщины, изначальные взаимная борьба и взаимное влечение полов. Автору удается проникнуть в почти непостижимые уголки женской души, удивительным образом показать нам, что чувствует женщина, в жаркий день лежащая под открытым небом, притихшая, наполовину дремлющая, погруженная в смутные мечты. В мировой литературе, наверное, немного найдется примеров подобного анализа женского подсознания. Сразу же вспоминаешь Толстого, его поразительную способность проникать в тайники женской души. Ясновидение Гр. Робакидзе, его анализ скорее философско-эстетического плана, нежели собственно психологического в отличие от Толстого; его взгляд проникает в область той невидимой глубинной связи, что существует между женщиной и матерью-землей, мате-

рию-природой и живет лишь в мифологическом сознании, не отрицая, а, напротив, подтверждая интуицию современного образованного человека, пытающегося постичь сущность бытия. Интимная близость Наты и Тамаза — тот же сакральный акт, реальное воплощение того сакрального единения, в которое вступают их мифологические первообразы Думмуз и Ина-на (Иштар и Таммуз соответствуют более ранним шумерским божествам Думмузу и Инане). Место под ореховым деревом, где происходит сакральное бракосочетание, — святое место, по-шумерски «гипар» (см. З. Кикнадзе «Мифология Междуречья»). Правда, «гипар» предполагает определенное строение, предназначенное для ритуальных действий, но в данном случае формальная сторона не так важна. То, что акт сакрального бракосочетания происходит под открытым небом, лишь подчеркивает непосредственную связь его с силами природы. Это акт того же созидания, тот же союз неба и земли, который осуществляется в результате соединения Иштар и Таммуза (Инаны и Думмуза). (Действительно: Ната беременеет, носит в себе плод — положено начало новой жизни).

Многие главы романа (всего их восемнадцать) — законченные творения, самостоятельные новеллы и в то же время неотъемлемая часть целого — каждая из них служит показу все усиливающейся духовной драмы героя, углублению основной мысли романа и вместе с тем развитию сюжета, определению позиций персонажей, их взаимоотношений. «Целое» здесь гораздо более значительно, чем каждая отдельная часть или даже просто их механическая сумма. В романе мастерски использованы различные литературные приемы и средства: политический анекдот, монтаж газетных новостей, комментарий к художественному произведению, сделанный главным героем, сон, литературные записи персонажа; более всего выделяется диалог — утонченный, скупой, опирающийся на подтекст, глубокий и богатый в смысловом и эмоциональном отношении. Вообще творчество Гр. Робакидзе отличается высокой культурой диалога.

Выше я говорил, что многие главы — это законченные новеллы, в то же время органически связанные с остальными частями романа. Рассмотрим с этой точки зрения последующую, третью главу, которая называется «И содрали с лошади шкуру».

В центре этой главы — история лошади, которую Тамаз Энгури рассказывает собеседникам. Эта история — символического значения: в ней выявляется подлинное лицо ре-

волюции. Мысль о сущности революции пронизывает весь роман. Упомянутая история выполняет и функцию своеобразного индикатора — выявляет позиции персонажей и их отношение друг к другу. Далее автор развивает тему, поднятую в первой главе. История лошади — сама по себе высокохудожественная короткая новелла. Кто помнит душераздирающую сцену безжалостного избияния и зверского убийства старой лошади из «Преступления и наказания», которую Раскольников видит во сне (хотя он и оставляет впечатление ожившей, увиденной в детстве картины), мне кажется, согласится со мной: эпизод, описанный Гр. Робакидзе, производит не менее острое впечатление. Стиль и манера, в которой описаны оба эпизода, совершенно различны. Достоевский рисует весь процесс избияния и умерщвления животного от начала до конца, с подробностями, психологической детализацией и здесь непременно возникла бы опасность натурализма и садизма, не будь этот эпизод увиден глазами ребенка, не смягчи мальчишечьи слезы и рыдания нечеловеческую жестокость толпы. В созданной Гр. Робакидзе не менее ужасной картине к лошади еще никто не прикоснулся, разъяренная толпа еще только преследует несчастное животное, обезумевшее от страха, мечущееся под ее жуткое улюлюканье. У Достоевского пьяная толпа забивает насмерть старую, еле дышащую клячу, вымещая на ней свою злобу, вызванную именно ее немощностью. У Гр. Робакидзе же, вооруженная ножами, дубинами и вилами разъяренная толпа преследует коня, сказочно красивого и вольного, чтобы заживо содрать с него шкуру только за его породистость и красоту. Убивая старуху-процентщицу, Раскольников в глубине души ощущает трагическое чувство, так как понимает, что стал соучастником обезумевшей толпы, которая на его глазах в далеком детстве насмерть забила старую жалкую клячу. Когда же главный герой романа Гр. Робакидзе, произнося речь на праздничном заседании в связи с советизацией Грузии (глава X, «Стирание всех граней»), вольно или невольно оправдывает метод террора (кровопускание — вещь необходимая), он, так же как и Раскольников, становится на сторону той толпы, что хочет заживо ободрать невинное животное и чье действие ужасает его самого.

По поводу развития поднятой в первой главе темы нужно сказать, что в третьей главе показано, как оскверняются две святыни. За грузинским столом оказываются два ответственных партийных работника — Нико Брегадзе и латыш Бер-

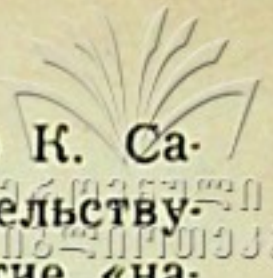
зин. Их присутствие отравляет атмосферу, они ведь непри-
миримы к тем, кто мыслит по-иному. Оскверняется традиция
грузинского застолья, суть которого в сердечности, открыто-
сти, радости. Примечательно то, что стол накрыт под тем
ореховым деревом, где предыдущим днем состоялось сакраль-
ное бракосочетание Наты и Тамаза. За столом Берзин обра-
щает внимание на Нату. Его взгляд будит в женщине какой-
то темный нездоровый инстинкт, что не укрывается от Тама-
за. Оскверняется «гниар», святое место, где соединились в
сакральном акте мужчина и женщина.

Вышеупомянутая речь главного героя, произнесенная на
праздничном заседании, состоявшемся в оперном театре в свя-
зи с советизацией Грузии, заслуживает внимания по многим
причинам. Если до сих пор в основном проявлялась внешняя
коллизия, отношения между героем и его окружением, а внут-
реннее недовольство его самим собой, тем, что он не отстаи-
вает своей позиции более активно и смело, было лишь слег-
ка обозначено, то после выступления появляется уже конф-
ликт внутренний, конфликт с самим собой, с собственной со-
вестью. Тамаз Энгури, оправдав репрессии, чувствует свою
моральную вину перед безвинно осужденными знакомыми и
соседами, перед их детьми, оставшимися сиротами. Правда,
это был минутный проступок, минутное выражение солидар-
ности с сидящими в зале, но его позиция была высказана
публично, публично поддержана кровавая политика. К тому
же произнесенная речь на следующий день была опубликована
в прессе. Внутренний конфликт героя романа достаточно сло-
жен. Он вобрал в себя различные противоречия, связи с таки-
ми категориями, как революция — террор — масса — народ.
Чтобы постичь характер героя, надо проанализировать, раз-
бить по мере возможности на составные элементы то сложное
чувство, которое породило внутренний конфликт.

Разумеется, проще простого все объяснить осторожно-
стью, безликим страхом, отравляющим общественную атмос-
феру. Но причина более глубока, корень внутренних противо-
речий гораздо глубже. Зададимся вопросом: что связывает Та-
маза Энгури с аудиторией, к которой он обратился с речью?
Но прежде надо ответить на другой вопрос: кто сидит в зале,
кто рукоплещет Тамазу Энгури за произнесенную речь? В за-
ле, в основном, находится масса, та самая безликая масса,
которая жесточайшей волей утверждает свои взгляды, вкус
и порядок жизни вообще. Понятие «масса» здесь нужно по-
нимать в том значении, которое дает ей в своем иссле-

довании «Восстание массы» испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. Он определяет основные психологические черты массы, характеризует ее природу. Интересно, что упомянутый труд испанского философа был создан примерно в то же время (1930 г.), когда писалась «Убиенная душа» (1932 г.) Гр. Робакидзе. Тамаз Энгури как самобытная, незаурядная личность, естественно, противостоит толпе безликих людей, объединенных стадным инстинктом. Лежит ли в основе этого противостояния имманентная брезгливость и ненависть, несомерное отношение элитарного героя к низменной толпе? Известно влияние Ницше на творчество Гр. Робакидзе, известно также и то, что Гр. Робакидзе называли «аристократом духа». Как понимать с учетом этого позицию Тамаза Энгури, являющуюся в то же время и авторской позицией? Гр. Робакидзе сам разъяснил нам, какое влияние оказал на него Ницше («Моя жизнь», газ. «Тбилиси», 3.II.89). Оно, в основном, заключалось в эстетическом понимании дионисийского начала и идеи вечного возвращения. Причем, ницшеанское понимание идеи вечного возвращения Гр. Робакидзе истолковывал по-своему. Для творчества Гр. Робакидзе характерен культ сильной личности, и Тамаз Энгури — одна из таких личностей. Каково различие между сильной личностью Гр. Робакидзе и «сверхчеловеком» Ницше? Учитывая традиционную интерпретацию учения Ницше, можно сказать, что между ними существенное различие. Герой произведений Гр. Робакидзе — человек нестигаемой воли, он закалил ее путем преодоления себя, собственного эгоизма; это — своего рода мост для установления внутренней связи с другим человеком: чувство любви толкает человека на самопожертвование (пример Миндии из «Ламары»). Ницшеанский сверхчеловек также преодолевает себя, но преодолевает с целью расширить свое жизненное пространство, поставить свою волю над волей других (впрочем, подобное понимание философии Ницше некоторые исследователи сегодня считают не таким уж и правомерным; более того, труд «Воля к власти», опубликованный после смерти философа, признается чуть ли не фальсификацией. См. об этом журн. «Вопросы философии», № 5, 1989).

Согласно взгляду Гр. Робакидзе, следует различать массу и народ. Масса — собрание безличностных единиц, стадо. Народ — единение высокой категории, единство, опирающееся на любовь к своей земле, истории, традициям, культуре и, прежде всего, — на веру. «Народ не есть учтенное в то или иное время статистикой собрание отдельных единиц, он —



живая сущность сверхличностной природы». Интервью К. Салия с Гр. Робакидзе, откуда взята эта цитата, свидетельствует, как глубоко понимал автор «Убиенной души» понятие «народ». Масса может стать народом, то есть богоносной, она — потенциальный носитель этой идеи. Насколько масса — в потенциальном отношении — народ, настолько она заслуживает сострадания, уважения, чувства солидарности. Здесь — исток внутреннего колебания, двойственного отношения к ней, хотя этим причина не исчерпывается. В том сложном чувстве, которое овладело Тамазом Энгури, когда он невольно проявил солидарность с массой, остается нечто темное, тайное, необъяснимое с чисто рационалистической точки зрения. Что это — тайное, темное? Это примерно такая же труднообъяснимая иррациональная сила, которая влечет Нату к Берзину; примерно так же действует на Тамаза Энгури темная притягательная сила массы. Гр. Робакидзе анализирует эту темную силу в коротком эссе — «Распад души». Обещанная девушка, чтобы хоть как-то облегчить себе невыносимые муки пытается найти в насильнике какие-либо положительные черты, это должно помочь ей хоть как-то сблизиться с ним, привыкнуть к нему. Тогда ощущение, что над тобой совершили насилие, будет не таким острым, не таким невыносимым. Обещанная, возможно, и сможет примириться с насильником, хотя в глубине души всегда будет чувствовать сложность, неестественность своего положения. Этим сложным психологическим комплексом Гр. Робакидзе объясняет факт примирения большей части грузинских писателей с существующим режимом в условиях левой диктатуры. Это, между прочим, тот самый психологический комплекс, который в свое время выявил Мих. Джавахишвили в отношениях Марго Хевистави и Джако Дживашвили в «Приживалах Джако». Так что и Тамаз Энгури, сильная личность, не застрахован от своего рода опасности влияния этой темной силы, от минутного внутреннего колебания.

Для более ясного понимания отношения Тамаза Энгури к массе надо сказать и то, что масса, как враждебная личности сила, видится ему не только на родине, но и на Западе. И там масса наступает на личность, стремится к утверждению своей психологии и жизнепорядка; и там «массовая культура» противостоит истинным духовным ценностям. Но на Западе личность имеет возможность защитить себя от натиска этой грубой силы, более того, сама оказать сопротивление, так как западная цивилизация сохранила главную духов-

но-нравственную ценность — свободу личности. Тамаз Энгури лишен в своем отечестве такой возможности, здесь личностная свобода пресечена в корне. Поэтому отношение Тамаза Энгури к революции отнюдь не однозначно. Он не сторонник революции, но и не принципиальный ее противник. Революция, которая открывает дорогу парламентско-демократическому строю, гарантирует свободу личности, приемлема для него (таковой была для самого Гр. Робакидзе Февральская революция, свергнувшая царизм). Если революция уничтожает свободу личности, то, ясно, она неприемлема.

Внутреннее напряжение, душевную драму Тамаза Энгури сменяет ощущение трагизма после того, как он становится невольной причиной гибели своего друга Левана. Но механизм действия карательной машины государства таков, что можно стать пособником и соучастником зла, даже не подозревая об этом. За Фемидой с весами в руках стоит невидимая Немезида с мечом. Пусть над каждым подозрительным и неблагонадежным человеком висит дамоклов меч, пусть каждый из них обречен, и в таких условиях каждая отдельная судьба зависит от многих случайностей.

Не оставь Тамаз Энгури зажигалки в экипаже, в котором возвращался в гостиницу после тайной встречи, его друг Левап, возможно, избежал бы расстрела, во всяком случае Энгури не стал бы невольной причиной гибели друга. То, что зажигалка осталась в экипаже, это, так сказать, «чистая» случайность, но за этой случайностью кроется уже определенная закономерность. Благодаря ей работнику ГПУ представляется возможность свести личные счеты с Леваном, отомстить ему. Или взять, к примеру, освобождение самого Тамаза Энгури. Кто знает, сколько времени его продержали бы в тюрьме или какое обвинение наконец «вменили», если бы не одна нейтральная фраза, брошенная следователю Берзиным: два человека, не знакомые друг с другом, вполне могут сделать одинаковые замечания к одной и той же книге (речь идет о романе Достоевского «Бесы»). Со своей стороны, Берзин не утрудил бы себя произнести эту нейтральную фразу, если бы не хотел ради Наты помочь Тамазу. В глазах широких масс, а также и руководящих партийных работников ГПУ — это государственный орган, стоящий на страже законности и порядка. Вспомните, с какой убежденностью произносит Берзин, когда узнает от Наты об аресте Тамаза Энгури: «ГПУ не ошибается». Обычное представление массы такое же: государство не ошибается, невиновных не наказывают (я имею в виду об-

щественное мнение того периода, когда писался роман). Но Гр. Робакидзе уже тогда утверждает, что это убеждение — ни что иное, как миф. На примере судьбы Тамаза Энгури, а тем более Левана, он показывает нам, какую большую роль в вопросе защиты законности играет личный интерес работника «органов». Правда, этот личный интерес еще не принял того масштаба, того отвратительного лица, какое он примет позже, в тридцать седьмом году. Но здесь уже выявляется его суть: призванные защищать законность сами совершают беззаконие, во зло используют свое положение, и это естественно, ибо они обладают неограниченной властью и действия их контролю не подлежат.

Вообще, повествование Гр. Робакидзе не загружено фактами, более того, с помощью минимума фактов он стремится придать явлению максимум драматизма, дать нам возможность прочувствовать его непосредственно, в первоизданном виде.

Некоторые писатели на примере множества фактов показали нам ужас «красного террора», различные унижения человека, издевательства, нечеловеческие муки, которым он подвергался. Они как бы ставили целью полностью объять описываемое явление, которое человеческий язык бессилён выразить во всей полноте. Гр. Робакидзе идет другим путем. Он берет не множество, а большей частью один достойный внимания факт, с помощью которого и показывает нам ту или другую сторону явления. Но уж этот факт исследуется им досконально, обнажается до предела с тем, чтобы вызвать максимальный отклик у читателя. В этом — своеобразие стиля художественного мышления Гр. Робакидзе. В конце концов, что такого происходит в ГПУ, куда попадает Тамаз Энгури? Здесь нет сцен пыток (только раз услышит сидящий в камере Тамаз вопль женщины), в камеру не бросают окровавленных, избитых до полусмерти узников. Весь процесс допроса Тамаза Энгури протекает в довольно деликатной форме. В камере сидят всего трое. Тамаза Энгури и еще одного обвиняемого освобождают через какое-то время. Третьего уводят на расстрел: отец навсегда расстается с единственным, малолетним сыном. Что может быть более трагичным? Какими фактами можно усугубить эту трагедию, если чувства отца и сына переданы с такой непосредственностью? Обвиняемого вынуждают предать друга. Как принуждают? Ведут вместе с другими на расстрел. Все падают замертво. И он падает, но, оказывается, в него стреляли холостыми патронами. Человек пережил смерть. Какая пытка может быть изощренней? По-

том его выпускают, но это уже не человек. Освобождают и Тамаза Энгури, но чего стоит такое освобождение! Читатель «Убиенной души» невольно думает: если это всего лишь прелюдия к мукам, то что же сами муки? Если описанные здесь события сравнительно нестрашны, то какие можно назвать страшными? Достаточно скупыми, но вместе с тем выразительными, точно выверенными средствами передает Гр. Робакидзе жуткую атмосферу ГПУ. Он дает простор фантазии читателя, писательское слово оказывает на нас влияние не только тем, что несет в себе, но и тем, что лишь подразумевается.

Роман от начала до конца пронизывает политическая сатира, которая достигает кульминации в XI и XII главах — «Хроника Акаша» и «Гороскоп Сталина».

В «Хронике Акаша» Гр. Робакидзе в сжатом виде дает глубокий анализ-характеристику той политической и общественной атмосферы, что господствовала в начале 30-х годов в нашей стране, поражает способность автора к наблюдению, постижению реальности, его дальновидность, предчувствие или предвидение тех ужасных событий, которые разыгрались во время большого террора. Почти все, что сейчас пишется у нас как результат критического разбора событий минувшего времени, в виде квинтэссенции представлено в этой главе. Она почти целиком медитационная, но то, о чем говорится в ней, воспринимается не как отвлеченное суждение, а как живая реальность, как живое чувство, проявленное в своеобразном внутреннем монологе героя.

За анализом и характеристикой общественно-политической ситуации, естественно, следует анализ и характеристика феномена человека, являющегося олицетворением системы и соответствующей ей ситуации. Того, кто является, так сказать, ее персонификацией, символом. Гр. Робакидзе глубоко и своеобразно объясняет характер Сталина как личности и политического деятеля. Могут возразить, что прототип и художественный образ отличаются друг от друга. Наверное, это так. Сталин, увиденный глазами единомышленников и соратников, не похож на тот портрет, который рисуют его идейные противники. Гр. Робакидзе создает художественно-психологический образ Сталина как писатель и антипод Сталина. Антипод не в том смысле, что ему безразличны проблема социальной справедливости и судьба простого народа, но в том, что он совсем по-другому понимает проблему гуманизма, принцип подхода к жизни и вообще смысл ее. Противостояние между ни-

ми есть противостояние между интеллигентом-личностью, достигшим вершины духа, и человеком — выразителем пролетарской идеологии. Гр. Робакидзе не пытается создать точную копию Сталина, так же, как и Достоевский, например, не ставил своей целью создать точный и правдивый портрет Нечаева в образе Петра Верховенского. Достоевский дал персонифицированный образ русского нигилизма, русского революционного движения, как он понимал и оценивал это движение. Гр. Робакидзе лепит персонифицированный образ в определенной мере того, что было предсказано в романе «Бесы» и что впоследствии воплотилось в жизнь в условиях режима большевистской диктатуры. Автор «Убиенной души» считает, что в каком-то смысле Петра Верховенского можно назвать предтечей Сталина. Пройдет много лет со дня публикации «Убиенной души», и в 1951 году Альбер Камю в трактате «Мятежный человек» назовет предтечей Ленина Нечаева, прототипа Верховенского.

Глубина мышления Гр. Робакидзе проявляется и в подходе к пониманию исторических явлений, в вопросе оценки роли личности в истории. Нынешние историки, писатели или публицисты, публикующие в центральной прессе статьи о прошлом Советского Союза, в большинстве своем фантастически преувеличивают роль личности. Эта многочисленная компания почти в один голос утверждает, что личность по своей воле может вертеть колесо истории, под свою дудку заставить плясать миллионы людей, по своему усмотрению предопределять и решать судьбы народов. И это говорят те, кто до сего дня твердил, что народ — творец истории, он ее главная движущая сила. Но вот понадобилось, и они поставили научное понимание истории с ног на голову. Запели на новый лад (зачем им это понадобилось, само по себе — очень интересно, но здесь не место выяснять этот вопрос). Одно сказать надо: без меры раздув роль личности, и, таким образом, без меры расширив содержание понятия свободы, упустили из виду почти начисто категорию необходимости. Не могут соединить, связать эти два понятия, установить определенную взаимосвязь между ними. И это произошло с теми, кто еще вчера считал себя знатоком марксизма и диалектики.

Гр. Робакидзе никогда не был марксистом, но проявившееся в «Убиенной душе» его понимание исторических процессов, точнее, взаимосвязи свободы и необходимости, их единства, можно считать образцом диалектического мышления. К тому же мы имеем здесь дело не с оперированием абстракт-

ными философскими категориями, но познаем конкретную систему управления, достаточно сложную и своеобразную реальность. В подтверждение этого приведу цитату из главы «Хроника Акаша», в которой глубоко осмыслено понимание сущности свободы в условиях большевистской диктатуры: «Не было силы, на которую все могли бы опереться. Районный комитет ждал указов и генеральной линии от областного комитета, областной — от краевого, а последний — из Москвы. В конце концов оставался лишь Центральный Комитет, а здесь повторялось то же самое: один оглядывался на другого, этот на третьего, третий на четвертого и так до высшей инстанции. Этот ряд кончался генеральным секретарем. Окончательное руководство генеральной линией осуществлялось им. Вместе с тем, однако, этот человек не был обычным самодержцем, в нем лишь аккумуляровались силовые потоки масс. Единственное его преимущество по отношению к другим заключалось в том, что он обладал способностью вмещать в себе средоточие этих потоков. Если бы эта способность ему изменила и он допустил бы ошибку, то создавшееся высокое напряжение уничтожило бы прежде всего его самого. На самом деле и он не был создателем генеральной линии. Он представлял собой нечто неопределенное и безличное, руководившее этой линией. Никто здесь не был хозяином самому себе. Генеральный секретарь в частности ни от кого не зависел, но в общем от всех. Он держал руку на пульсе всей страны, и, хотя он, как единоличный правитель, обладал неограниченной властью, все же не был свободным по отношению к безличному целому. Допусти он хоть одну оплошность, тут же был бы уничтожен. В результате оказалось, что никто не был свободен. Революция пробудила такие силы, которые она теперь сама уже не в состоянии была укротить. Историю творило непостижимое нечто, достаточно безличное, отнюдь не отдельный человек и даже не группа людей».

Интересно, что Гр. Робакидзе, так хорошо знавший историю большевистской партии, так глубоко постигший суть большевизма, называет Сталина «большевиком по рождению». Более того, по аналогии с дохристианским христианином, он считает Сталина добольшевистским большевиком. Это аксиома, но ее все же следует подчеркнуть с учетом того, что целая армия владеющих пером (в первую очередь — москвичей, хотя им и подпевают некоторые наши умники) окрестила эпоху ленинско-большевистской диктатуры «сталинизмом» и «сталинщиной», упорно пытается превратить эти два слова в синоним

и, более того, в понятие определенного политического строя. Они всячески стараются оторвать Сталина от Ленина, лишить его большевистской чести. То лепят ярлык троцкиста (писатель В. Белов. Абсурд, не такой?!), то объявляют представителем какого-то анонимного, несуществующего сектантско-догматического крыла (проф. В. Согрин). Прямо из кожи вон лезут. Ведь это все равно, что объявить Папу Римского не католиком (с какой целью была начата эта демагогически-шарлатанская кампания, эта смешная и беспомощная попытка абсолютно бесспорное превратить в спорное --- вопрос отдельный).

В то время, когда создавалась «Убиенная душа», западноевропейские теоретики пытались оценить и спрогнозировать происходящие в Советском Союзе процессы. Руководитель II Интернационала К. Каутский и один из бывших лидеров меньшевиков Ф. Дан пишут брошюры, где высказывают предположение, что раскулачивание и полная коллективизация поднимут крестьянство на борьбу с властью, и сталинский режим падет. Либо победит военная диктатура (чаша весов склонялась в пользу прозванного «красным Наполеоном» Тухачевского), либо, возможно, Россия встанет на путь демократического развития. Прогноз не оправдался. Вскоре все, к своему удивлению, убедились, что коллективизация еще более упрочила сталинский режим.

А что думал по этому поводу автор «Убиенной души»?

Ответ на это дает многозначный, символического значения сон Берзина (глава — «Демоническое»). Берзин — бесстрашный, стойкий революционер (троцкистской ориентации). Он фанатически предан идее революции. Генеральную линию ЦК в вопросе коллективизации не разделяет и в душе вынашивает намерение как-нибудь покончить со Сталиным. Подходящий случай ему вскоре представляется. На одном из партийных заседаний они оказываются рядом. У Берзина в кармане — револьвер, ему нужно только улучшить момент и выстрелить в генсека (действие происходит во сне, но описано так, что четкая грань между сном и явью отсутствует). В решающую минуту взгляды их скрещиваются. Между Берзиным и Сталиным происходит короткий психологический поединок. Берзин терпит в нем жестокое поражение. Насмешливо-демонический взгляд Сталина сокрушает его негибаемую волю. Он побежден и окончательно разоружен. Здесь образ Сталина выходит за рамки реального измерения и превращается в «мифологический образ», переходит в область мифологического.

Если Сталина некому одолеть, если любая попытка сде-

лать это с самого начала обречена на неудачу, это символически указывает на то, что большевистская цитадель, которую олицетворяет Сталин, неприступна. Крепость берется изнутри, процесс разложения также начинается изнутри.

Историческая перспектива Гр. Робакидзе, его оптимизм в это время тяжелых испытаний основываются на вере в то, что народ не сможет прожить без Бога, что рано или поздно он снова повернется к нему. Эта мысль прямо формулируется в первой главе романа и в диалоге со следователем ГПУ. Предвидение автора сбывается. Его интуиция оказалась безошибочной. То, что происходит сейчас вокруг нас, — свидетельство тому. Для писателя же, создававшего свой роман в начале 30-х годов, наш сегодняшний день был далекой перспективой. Героя его романа ждали тяжелые испытания. Тамаз Энгури должен был суметь сохранить в это злосчастное время собственную позицию, свое «я», свою духовную автономию.

Конец романа, его финальный эпизод показывают нам человека, оказавшегося в тяжелом положении, — одинокого духовно и физически, но тем не менее сохранившего завидную способность к духовному обновлению, возрождению веры. Мистическое видение, экстатический акт приобщения к Всевышнему пробуждает в душе Тамаза Энгури, оставшегося наедине с природой, надежду на возвращение к жизни.

Для художественного осмысления и оценки финального эпизода романа необходимо отречься от утвердившегося в нас одного идеологического стереотипа. Это — отношение к мистике. Оно до последнего времени было однозначным — отрицательным. Мистика же — органическая часть христианской литературы, христианской культуры вообще. Достаточно назвать хотя бы Данте или немецких романтиков. Мистика может быть активной и пассивной, может толкать художника к отшельничеству и способствовать его связи с земным бытием.

Мистика Гр. Робакидзе активна, к тому же нелитературна, непосредственна. Автор «Убиенной души» всегда активно участвовал в общественно-культурной жизни народа, всегда являлся носителем активной позиции. Герой его романа также занят общественно-культурной деятельностью, насколько это было возможно в сложившихся условиях.

Немецкий философ Леопольд Циглер считал романы Гр. Робакидзе — «Змеиная рубашка», «Убиенная душа» и «Хранители Грааля» — своеобразной трилогией. По его же словам, эта трилогия — эпос грузинского народа XX века, история грузинского духа XX века.

Действительно, чтобы лучше понять «Убиенную душу», надо рассматривать это произведение в единстве со «Змеиной рубашкой» и «Хранителями Грааля». В художественном мире «Змеиной рубашки» гармонию, обретенную ценой душевных мук, разрушает впоследствии грубая внешняя сила. Воцаряется дисгармония. Тамаз Энгури, воплощающий истинную сущность своего народа, выражающий лучшие его духовно-нравственные качества, один противостоит грубой силе. Он должен проявить большую твердость, огромную силу воли, чтобы не сломиться, не потерять свое «я», свою веру. В «Хранителях Грааля» враждебным народам противостоит уже братство рыцарей. Борьба за защиту чаши Грааля — это борьба за свободу и самобытность нации, за высокие идеалы. Благородство, возвышенная душа, рыцарская отвага, трагическое самопожертвование делают защитников Грааля героями великой эпопеи. Для Гр. Робакидзе понятие победы, в первую очередь, подразумевает победу духовно-нравственную, а не иллюзорное преимущество, достигнутое мечом и истреблением народа. Настоящее преимущество кроется не в силе кулаков, но в духовной возвышенности. И действительно, какому цезарю силой меча и военного таланта удалось покорить такое количество людей разных племен и наций, какое покорил совершенно безоружный Мессия, завоевавший сердца и разум миллионов? Оружие Гр. Робакидзе — художественное слово, с его помощью он оказывает влияние на человека, приобщает его к миру прекрасного и возвышает, как это надлежит делать духовному пастырю народа.



Методы изучения и анализа художественного произведения

IV. ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД

Формальный метод — метод интерпретации художественного произведения как поддающегося точному описанию объекта, специфику которого определяет форма (понимаемая весьма широко и не противопоставляемая так называемому содержанию). В настоящей статье формальный метод исследуется в узком значении — как метод, получивший распространение в литературоведческих работах русских ученых середины 1910-х — 1920-х годов. Иногда термин «формальный метод» употребляют в широком значении — как любой «точный» метод изучения литературы (см., например, статью о формальном методе в «Краткой литературной энциклопедии», 1975, т. 8). Вряд ли такое толкование полезно. Во-первых, термин прочно закрепился в истории литературоведения за трудами русских формалистов и, во-вторых, в расширительном значении целесообразнее говорить о формальных методах изучения литературы ввиду существенного различия между ними.

Формальный метод возник как реакция на традиционную литературную критику XIX века с ее ориентацией на выявление содержательных аспектов анализируемого произведения и невниманием к организующим произведение формальным факторам. Философские истоки метода — учение Канта о форме и содержании (в частности, подхваченный впоследствии неокантианцами тезис о бескорыстии и «бесцельности» прекрасного), а также позитивизм (в особенности — позитивистский феноменализм). В более широком плане формализация гуманитарной науки была следствием как определенного застоя в научной мысли XIX столетия (старые эмпирические методы исследования уже исчерпали себя), так и потребности более глубокого

Продолжение. Начало см. в №№ 9, 11 за 1990 и № 3 за 1991 г.

проникновения в природу человеческого мышления. Провозвестниками нового подхода были австрийский музыкальный критик Эдуард Ганслик (трактат «О музыкально-прекрасном», 1854) и швейцарский искусствовед Генрих Вёльфин (работы 1880—90-х гг.). Значительное влияние на становление формального метода оказали лингвистические идеи Ф. де Соссюра и И. А. Бодуэна де Куртэнэ; его рост стимулировало также активное формотворчество, наблюдавшееся в это время в различных видах искусства. В России первые попытки литературоведческой формализации принадлежат модернистам (Андрей Белый, В. Брюсов, Н. Гумилев, В. Хлебников) — наивный характер этих попыток был хорошо показан формалистами, хотя справедливости ради отметим, что формалистические штудии Андрея Белого сохраняют определенную ценность и по сей день.

Сторонники формального метода входили в Петроградское общество изучения поэтического языка ОПОЯЗ (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, С. И. Бернштейн, О. М. Брик), а также являлись сотрудниками Государственного института истории искусств (В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов, Б. В. Томашевский) и членами Московского лингвистического кружка (Г. О. Винокур, Р. О. Jakobson). Позиция ряда ученых была неоднозначной; некоторые сторонники формального метода подвергли его в дальнейшем критическому пересмотру (Жирмунский, Шкловский и особенно Виноградов). По всей видимости, эти разногласия, а также географический разброс обществ и кружков не позволяет ряду исследователей признавать за деятельностью формалистов статус формальной школы. В наиболее категоричной форме эта точка зрения фигурирует в сборнике «Советское литературоведение за 50 лет» (главный редактор — В. Г. Базанов), где прямо сказано: «Прежде всего единой школы не было»*. С другой стороны, предпринимались попытки обосновать особое «формалистическое мировоззрение». С моей точки зрения, обе эти крайности мало приближают нас к пониманию места и значения формального метода в литературоведении.

Из множества общих и частных положений, выдвинутых в свое время представителями формального метода, нам, по прошествии семи десятилетий, нетрудно выявить то главное и

* Советское литературоведение за 50 лет. Л., 1968, с. 372.

новое, что составляло специфику метода. Изучение источников позволяет выделить следующие принципиальные положения:

1. Не существует дуализма «формы» («приема») и «содержания» («материала»), поскольку они неразрывно взаимосвязаны.

2. Главная задача искусства — изучение «приемов».

3. Поэтический язык — принципиально отличный от языка практического; в рамках его осуществляется «вывод вещи из автоматизма восприятия».

4. Поскольку литературное произведение — «кагалог поэтических приемов» (Жирмунский), изучать его следует, не выходя за пределы «литературного ряда».

Остановимся более подробно на вопросе о «приеме» (термин введен в научный оборот Шкловским), который совершенно справедливо считался «центральным вопросом литературной гносеологии формалистов» (М. С. Григорьев). Известна формула Якобсона — «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать «прием» своим единственным героем»*. Исчерпывающее описание поэтических приемов было дано Жирмунским в программной работе «Задачи поэтики» (1919—1923 гг.). Все приемы здесь разбиты на шесть больших групп — организация звуков поэтического языка; формальное (грамматическое) строение слова; приемы художественного использования синтаксических форм (поэтический синтаксис); значение слова (семантика или семасиология); историческая лексикология; тематика и композиция. Как видим, «прием» трактуется адептами формального метода весьма широко — как емкая категория, обнимающая формально-содержательные компоненты художественного произведения. Заметна роль языковых приемов — тенденция, характерная для теоретического литературоведения 20-х годов. Понятие единства или системности приемов поэтического произведения Жирмунский обозначает термином стиль, подчеркивая, что «в художественном произведении мы имеем не простое сосуществование обособленных и самоценных приемов: один прием требует другого приема, ему соответствующего. Все они определяются единством художественного задания данного произведения и в этом задании получают свое место и свое оправдание». Очерчивая границы формальной поэтики, ученый резюмирует: «Только с введением в поэтику понятия сти-

* Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Прага, 1921, с. 11.



ля система основных понятий этой науки (материал прием- стиль) может считаться законченной»*.

Предложенное Жирмунским понимание совокупности приемов как системы было значительным шагом вперед по сравнению с пониманием на ранней стадии развития формального метода приемов как изолированных элементов, образующих каталог. Следующим этапом осмысления «приема» будет позиция Тынянова, для которого «единство произведения не есть замкнутая симметрическая целость, а развертывающаяся динамическая целостность»**.

Одним из других важных нововведений формалистов было создание теории остранения (Шкловский). Суть теории состояла в противопоставлении практического языка языку поэтическому, в рамках которого осуществлялся «вывод вещи из автоматизма восприятия». По словам автора теории, «остранение — это удивление миру, его обостренное восприятие». Остранение, как его трактует Краткая литературная энциклопедия (А. А. Леонтьев), — это описание знакомого автору явления как впервые увиденного, чтобы вызвать у читателя видение предмета, а не автоматическое узнавание его. Выработка теории остранения позволила формалистам дать свое понимание эволюции литературного процесса: смена литературных приемов (школ) осуществляется как реакция на износ старых приемов, ставших автоматическими. В чем же состоит философский смысл явления остранения? «Теория остранения, принятая многими, в том числе Брехтом, говорит об искусстве как о познании, как о способе исследования, — замечает Шкловский. — Искусство изменяется, жанры сталкиваются для того, чтобы сохранилось ощущение мира, для того, чтобы из мира продолжала поступать информация, а не ощущалась уже традиционная форма»***.

Следует отметить, что взгляды представителей формального метода претерпевали эволюцию: с одной стороны, углублялось понимание специфики литературы, с другой, в силу особенностей общественно - политической ситуации тех лет социологическим концепциям делались иногда довольно значи-

* Жирмунский В. М. Задачи поэтики. — В кн.: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 34—35.

** Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. Разбивка моя. — В. Ч.

*** Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного. — Собр. соч., М., 1974, т. 3, с. 768—769.

тельные уступки. Выделим ряд наиболее важных положений, к которым пришли формалисты к концу 20-х годов:

1) проблема литературной эволюции как «смены систем» литературных явлений в их исторической конкретности (Ю. Н. Тынянов, «Вопрос о литературной эволюции», 1927);

2) проблема функциональных стилей языка (Л. П. Якубинский, 1917, 1923);

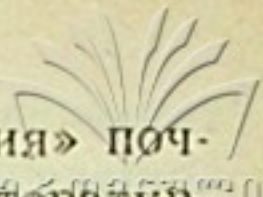
3) представление об искусстве как знаковой системе (В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, «Поэтика кино», 1927);

4) разработка функциональной поэтики на основе вычленения понятия «функции» (Ю. Н. Тынянов, «Вопрос о литературной эволюции», 1927; В. Я. Пропп, «Морфология сказки», 1928).

Для уяснения вклада формалистов в семиотику большое значение имеет анализ таких терминов, как «функция» (Пропп, Тынянов), «эквивалент» (Тынянов), «конвенция» (Шкловский). Остановимся более подробно на последнем термине. «Для того, чтобы понять то, что вам говорят, — уточняет Шкловский, — надо знать, кто говорит и что хотят вам сообщить. Иногда слушаешь начало разговора по телефону, и слова непонятны, но когда понимаешь, кто говорит, разговор попадает в систему познания этого человека, в систему твоих отношений с говорящим, и все становится внятным, хотя вам иногда говорят то, что требует усилия для понимания... Законы, определяющие значения частей в предвиденных контекстах, ...я буду называть «конвенциями», то есть условиями, известными и автору данной системы сигналов, и тем, кто воспринимает. ...Конвенция — это условия взаимоотношения структур, которые автор невольно заключает между собой и теми, кому он делает сообщения, и иногда теоретически осознается. В конвенцию входит обычно несколько сопоставленных, измененных новыми функциями структур»*. Учение о конвенции помогло формалистам сформулировать понятие «жанра» — одной из наиболее сложных категорий теории литературы. «Жанр — конвенция — соглашение о значении и согласовании сигналов. Система должна быть ясна и автору, и читателю. Поэтому автор часто сообщает в начале произведения, что оно роман, драма, комедия, элегия или послание. Он как бы указывает способ слушания вещи, способ восприятия структуры произведения»**.

* Шкловский В. Б. Тетива, с. 612, 502, 564.

** Там же, с. 762.



Под давлением «социологического литературоведения» почти все формалисты отказались от идеи автономии «литературного ряда», впрочем, для некоторых исследователей это решение было органичным (например, интерес Тынянова и Эйхенбаума к «бытовому ряду»^{*}). Единичные попытки примирить оба метода на путях создания формально-социологического метода (Б. Арватов) успеха не имели. Социологические увлечения формалистов были это высмеяны в 1929 году В. Ф. Перверзевым в статье «Социологический метод» формалистов». Однако некорректно ставить знак равенства, как это сделал Перверзев, между формальным методом и научно-исследовательским методом таких, скажем, ученых, как Тынянов или Эйхенбаум. Путь научной мысли и ее судьба обычно трудно поддаются прогнозированию: Тынянову и Эйхенбауму предстояло создать работы, вошедшие в золотой фонд литературоведения, и научность метода, положенного в основу их написания, сегодня не может вызывать ни малейших сомнений.

Формальный метод подвергся критике в целом ряде работ, выходящих как в 20—30-е годы (Л. С. Выготский, Б. М. Энгельгардт, П. Н. Медведев, И. А. Виноградов, А. В. Багрий и др.), так и в 60—70-е (С. И. Машинский, Д. Д. Ивлев, Н. Н. Типсин и др.). Любопытно, что острой критике отдельные положения формального метода, а то и метод в целом подвергали и сами формалисты (Жирмунский, Виноградов, Тынянов, Шкловский), причем толчком к критике послужила полемика в 1922 году между Эйхенбаумом и Жирмунским, обнажившая глубокие противоречия внутри формальной школы. Формальному методу вообще «повезло» на критику: его широко обсуждали в прессе («Печать и революция», 1924, № 5), на диспуте «Искусство и революция» (1925), диспуте о формальном методе (1927). Такое повышенное внимание к методу по меньшей мере свидетельствует о том, что он дал мощный толчок научной и общественной мысли.

Среди потока критической литературы особое внимание обратило на себя исследование профессора М. С. Григорьева «Формальная школа», вошедшее в его книгу «Литература и

* Заслуживает внимания замечание Эйхенбаума о необходимости принципиального разграничения эволюции и истории и проводимое Тыняновым разграничение двух типов исторических исследований: генезиса литературных явлений и эволюции «литературного ряда».

идеология» (М., 1929; далее ссылки в тексте на это издание). Считая «основной и первоначальной задачей литературоведения» «изучение объекта литературного исследования, его структуры без всяких ограничительных предпосылок» (с. 42) и, имея в виду глубокую неприязнь формалистов к содержательной стороне произведения, Григорьев не без иронии отмечал, что «с точки зрения формалистов словесное художественное произведение представляет собою знаменитый соус из зайца, но без самого зайца» (с. 24). Методологическая уязвимость формального подхода, по мнению ученого, коренится в отстаивании идеи автономности «литературного ряда», из-за чего отсекается возможность пользоваться плодотворным принципом детерминизма. Единственно приемлемый принцип для объяснения изменений внутри литературного ряда — эволюционный; факты же для него поставляются теорией остранения (см. с. 54—55). Основными недостатками формального метода Григорьев считал, во-первых, его тяготение к «антипонятийным» элементам художественного произведения — ритму, мелодике и др. и невнимание к тематике и эйдологии (строению образа); во-вторых, его сосредоточенность на абстракции, а не на конкретном литературном факте, «в котором смысл и средства выражения связаны неразрывно», и, в-третьих, его антиисторизм (см. с. 49—50). «Тягчайшим следствием формальной теории была невозможность для формалистов подойти к изучению с помощью формального метода современных литературных явлений во всей их конкретности, потому что и для невооруженного глаза видно, что современная литература развивается явно по нелитературным признакам» (с. 57), — завершает обзор недостатков формального метода Григорьев.

Любопытно, что даже такой адепт формального метода, каким был на первых порах Жирмунский, очень скоро (уже в 1923 г.) отказался от идеи паритета формы и содержания в пользу последнего компонента. «Основным недостатком большинства современных работ по вопросам поэтики, — писал он, — является сознательное или бессознательное предпочтение, отдаваемое вопросам композиции перед вопросами тематики. Оно вполне законно как индивидуальное предпочтение определенной группы вопросов, но теряет право на существование, когда пытается обосновать себя как эстетическую теорию. В этом своеобразном уклоне несомненно сказывается влияние некоторых новейших течений в искусстве: в области живописи, поэзии, театра принцип «беспредметного искусства» неоднократно выдвигался в последние годы под влиянием эс-

тетике футуризма. В этом вопросе следует провести особенно отчетливо границу между формальными заданиями науки о литературе и формалистическими принципами ее изучения и истолкования. Нельзя думать, что вопросами метрики, инструментовки, синтаксиса и сюжетосложения, т. е. сюжетной композиции исчерпывается область поэтики: задача изучения литературного произведения с точки зрения эстетической только тогда будет закончена, когда в круг изучения войдут и поэтические темы, так называемое содержание, рассматриваемое как художественно действенный факт»*. Для иллюстрации этого своего положения ученый ссылается на элементы формального сходства в известной басне о журавле и цапле и «Евгении Онегине» («та же сюжетная схема в «обнаженной» форме» — «А любит Б, Б не любит А; когда же Б полюбил А, то А уже не любит Б»), а затем заключает: «Думается, однако, что для художественного впечатления «Евгения Онегина» это сродство с басней является весьма второстепенным и что гораздо существеннее то глубокое качественное различие, которое создается благодаря различию темы («арифметического значения числителя и знаменателя»), в одном случае — Онегина и Татьяны, в другом случае — журавля и цапли»**. Однако справедливости ради отметим, что идея приоритета содержания не сыграла сколько-нибудь существенной роли в исследовательской практике ученого — научный инстинкт Жирмунского заставлял его в большинстве случаев держать перед своим мысленным взором подвижное равновесие формы и содержания.

Плодотворной была полемика, которую вели с формалистами сотрудники Государственной академии художественных наук (ГАХН). Опираясь на теоретические изыскания Густава Шпета, они противопоставляли «внешней форме» (которой, по их мнению, ограничивают свои исследования формалисты) «внутреннюю форму», что позволяло устранить противоречия между формой и содержанием***. Однако критика формального метода далеко не всегда носила конструктивный характер: кри-

* Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе». — В кн.: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 103.

** Там же, с. 104.

*** К понятию внутренней формы слова раньше Г. Шпета пришел В. В. Плотников (см.: Филол. записки, Воронеж. 1888, вып. I, с. 59).

тикам этого метода не терпелось «громить формализм», а ведь сторонников этого метода объединяла благородная по своей сути идея создания литературоведения как строго научной дисциплины.

Формальный метод достиг своей вершины в 20-х годах нашего столетия — это был период бурного расцвета гуманитарной мысли, поиска новых путей в науке и искусстве. Справедливо отмечалось, что «поэтика 1920-х годов по обилию работ и многообразию течений не имеет себе равных в русском, да, пожалуй, и мировом литературоведении»*. Заслуги формального метода признавались даже его противниками. «...После их работ сделалось убедительным. — писал М. С. Григорьев, — что художественное произведение надо брать со всеми особенностями его строения, что полностью понять и почувствовать художественное произведение можно, только полностью восприняв его формальные особенности, потому что мысли и чувства поэта сформированы так именно, а не иначе, потому что, не восприняв формальных особенностей произведения, мы будем иметь дело не с мыслями и чувствами поэта, а с чем-то другим, чаще всего с нашей выдумкой, имеющей меньшую цену в сравнении с тем, что дает поэт»**. Правда, при этом делались попытки разъять «полезную» практику и «вредную» теорию формального метода, однако такое разъятие едва ли полезно: у формалистов были плодотворные и ошибочные идеи, они получали эффективные и малоэффективные результаты. Задача современного исследователя и состоит в выявлении продуктивных идей и приемов формального метода — продуктивных с точки зрения дальнейшего развития литературоведческих изысканий. В 1923 году Жирмунский уже ставил вопрос о судьбах формального метода: «Плодотворность этих устремлений, вероятно, оценит будущий историк науки о литературе: она заключается, как мне кажется, независимо от «воли к методу», в конкретных результатах исследования ряда вопросов, в русской науке совершенно не изученных, мало известных в науке западной»***. Наибольший вклад формалисты внесли в изучение ритма и рифмы, метрики и композиции стиха (В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский), поэтической семантики (Ю. Н. Тынянов), синтаксиса и интонации (Б. М. Эйхенбаум), стилистической семантики

* Советское литературоведение за 50 лет, с. 375.

** Григорьев М. С. Литература и идеология. М., 1929, с. 37.

*** Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе», с. 94.

(Р. О. Якобсон), стиля в широком смысле (В. В. Виноградов), проблем сюжетосложения (В. Б. Шкловский). Наиболее значительных результатов формалисты добились при изучении лирической поэзии — это связано с тем, что закономерности в рамках лирического рода в наибольшей степени поддаются «точному» описанию. Но есть и другие причины, на которые указывают сами формалисты: «В то время как лирическое стихотворение является, действительно, произведением словесного искусства, в выборе и соединении слов как со смысловой, так и со звуковой стороны, насквозь подчиненным эстетическому заданию, роман... свободный в своей словесной композиции, пользуется словом не как художественно значимым элементом воздействия, а как нейтральной средой или системой обозначений, подчиненных, как в практической речи, коммуникативной функции и вводящих нас в отвлеченное от слова движение тематических элементов. ...Конечно, существует чисто эстетическая проза, в которой композиционно-стилистические арабески, приемы словесного сказа, вытесняют элементы сюжета... Однако именно на фоне этих примеров особенно отчетливо выделяются такие образцы современного романа (Стендаль, Толстой), в которых слово в художественном отношении является нейтральным элементом»*.

Формальный метод претерпел эволюцию (несмотря на недолгий срок своего существования) — от раннего антиисторизма и механицизма (понимание произведения как каталога приемов) к позднему историзму и диалектизму, (от понимания произведения как системы приемов к пониманию его как динамической целостности, как «звена самоотрицания»). Впрочем, окончательный переход к историзму и диалектизму как раз и означал отказ от установок формального метода — во второй половине 20-х годов формальный метод фактически исчерпал себя, став составной частью других методов. Не будем, однако, забывать о том, что формальный метод служил ученым с мировыми именами — Тынянову и Жирмунскому, Томашевскому и Эйхенбауму, Шкловскому и Якобсону. Используя формальный метод, ряд блестящих результатов получил В. Я. Пропп. В спорах с формализмом и в отталкивании от него в 30-е годы развивалось творчество М. М. Бахтина. Весьма значительное воздействие формальный метод оказал на развитие западного литературоведения — ему многим обязаны

* Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе», с. 102.

«новая критика» и структурализм. Несмотря на негативное отношение, которое сложилось в отечественной гуманитарной науке ко всему «формальному», влияние формального метода в 60—80-годы ощущалось в работах Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, В. В. Иванова, В. Н. Топорова, С. Ю. Неклюдова и некоторых других ученых. В более широком плане формалистов можно считать основоположниками нарративной семиотики — понятия «знака», «функции», «эквивалента», «конвенции» стали ключевыми терминами семиотической науки. Во многих случаях исследователи, создающие труды по семиотике и структурализму, не ощущают такой связи, о чем с иронией и горечью писал Шкловский: «Мысли людей повторяются — иногда через пятьдесят лет, иногда через сто лет. Хорошо, когда они повторяются, зная о том, что путь частично пройден, что уже был один поворот спирали. Хуже, когда повторение имеет вид открытия. Еще хуже — не принять открытия из упрямства»*.

Формальный метод прожил короткую, но яркую и запоминающуюся жизнь. Вопреки расхожему мнению он не «съедал» содержания произведения и не стремился подменить анализ статистическими таблицами. Никто так глубоко, как формалисты, не чувствовал опасности формализации в сфере словесного искусства. «Словесный материал. — писал Жирмунский, — не подчиняется формальному композиционному закону (ср. так называемые отступления от метра, существующие во всех языках), потому что слово не создано специально для целей искусства, как организованный всецело по художественному принципу абстрактный материал тонов, которыми пользуется музыка: слово прежде всего служит практическому заданию общения между людьми»**. Формальный метод перестал существовать, но его идеи, взращенные в беспокойное и тяжелое время содружеством удивительно талантливых людей, продолжают питать современную, нуждающуюся в усиленной подкормке, литературоведческую мысль.

* Шкловский В. Б. Тетива, с. 663.

** Жирмунский В. М. К вопросу о «формальном методе», с. 102.



Почему была закрыта газета „Дрозба“?

По представлению Кавказского Цензурного Комитета об устранении Князя Мачабели от редактирования газеты «Дрозба».

Нач. 23 февраля 1885 года

Кончилось 27 сент. 1885 года

Министерство внутренних дел
Кавказский Цензурный Комитет
21 февр. 1885 года
№ 368
в Тифлисе

Господину Главномачальствую-
щему гражданской
частью на Кавказе

17 сентября 1885 года по распоряжению Главномачальствующего гражданской частью на Кавказе генерал-адъютанта князя А. М. Дондукова-Корсакова в Тбилиси была закрыта пользовавшаяся большой популярностью среди населения, единственная выходившая здесь на грузинском языке политическо-литературная газета «Дрозба». Ее закрытие грузинская общественность восприняла довольно остро. И это неудивительно — ведь со дня основания она являлась для грузинского читателя наиболее авторитетным источником информации как в области культурно-просветительской, так и в сфере общественно-политической жизни. К тому же язык и стиль «Дрозба» служили настоящим образцом и примером для подражания тем, кто выписывал эту газету не только в Грузии, но и за ее пределами, кто вольно или невольно оказался вдали от родины. Так, например, основатель

Издающаяся в гор. Тифлисе дворянином Картвеловым ежедневная газета «Дрозба», редактируемая Князем Мачабели, постоянно обращает на себя внимание цензуры тенденциозным сепаратическим направлением. Представляемая на просмотр статьи для этой газеты проникнуты весьма резкими нападками на мероприятия правительства, по преимуществу в сфере духовного и учебного ведомств. Несмотря на то, что такое направление газеты систематически преследуется цензурою и все статьи в смысле выше упомянутых задерживаются без всякого снисхождения и послабления, редакция газеты, с видимым упорством и настойчивостью, продолжает вносить на просмотр цензуры статьи в том же духе, совершенно игнорируя делаемая ей цензурою указания. Обращаемая к редакции разного рода законные требования со стороны цензора или Комитета, касающиеся издания, остаются без исполнения, иногда даже без ответа, или же вызывают личную явку в канцелярию Комитета редактора Князя Мачабели, который, делая те или другие словесные заявления, облакает их всегда в форму крайне неприличную и дерзкую. 13-го февраля текущего года Попечитель Учебного Округа, указывая вообще на дурное влияние, которое может иметь «Дрозба» на учащееся юношество неправильным объяснением распоряжений учебного начальства и стремлением подорвать в учащихся доверие к устанавливаемым в учебных заведениях порядкам, сообщил, между прочим, что редакция этой газеты высылает в Хонскую учительскую семинарию свое издание под особой бандеролью на имя учеников-грузин семинарии (при отзыве Попечителя при-

грузинского католического монастыря в Стамбуле, расположенного в одном из красивейших его кварталов — Ферикои (то есть «Квартале фей»), Петрэ (Лука) Харисчирашвили писал 22 августа 1873 года известному грузинскому деятелю из Ахалцихе Иванэ Гварамадзе (его псевдоним был Некто Месх—«Винме месхи») о желании печатать в своей типографии при монастыре, существовавшей с 1870 года, книги духовного содержания. При этом он просил перевести их «на правильный грузинский язык газеты «Дрозба», чтобы грузинам, живущим там, были доступны те или иные произведения, созданные на их родном языке.

Телеграммы в связи с закрытием газеты шли не только со всех уголков Грузии, но и из-за рубежа. Так, в Литературном музее имени Г. Леонидзе, в личном фонде Иванэ Мачабели (№ 14180-6) хранится телеграмма, посланная 23 сентября 1885 года из г. Ново-

ложена и бандероль). Вследствие этого Тайный Советник Яновский просит не допускать печатания в «Дрозба» статей, заключающих неверные сведения об училищах округа и воспретить редакции распространять газету между воспитанниками учебных заведений.

Относительно первого вопроса Комитет сделал распоряжение, чтобы ни одна статья, касающаяся учебного ведомства и предназначенная для помещения в газете «Дрозба», не была пропускаема без предварительного сношения с учебным начальством. Что же касается не законного водворения этой газеты в учебных заведениях, то Комитет, в настоящем случае, лишен возможности не только принять какия-либо меры к прекращению этого водворения, но даже и следить за разсылкою газет, так как закон не устанавливает никакого контроля цензуры за высылкою изданий подписчикам. Более чем вероятно, что «Дрозба» высылается редакциею не только в Хонскую семинарию, но и в другие заведения в крае и нет сомнения, что если бы Комитет предложил редакции прекратить эту высылку, то такое распоряжение не имело бы никаких последствий. Доказательством этому может служить то обстоятельство, что Комитет, по получении упомянутого отзыва Попечителя, запросил редакцию, по чьему требованию высылается «Дрозба» в Хонскую семинарию, если же такого требования семинария не предъявляет, то на каком основании это делается. На это редакция ответила, что операция разсылки газет, составляющая спекулятивную часть дела, производится по торговым книгам, которые составляют коммерческую тайну и сведения из них

баязета князем Ал. Кочакидзе [?]. Вот ее текст:

«Многоуважаемый князь!

Сегодняшняя газетная почта принесла объявление редакции «Дрозба», невольно напоминающее, при размышлении по поводу его, известный принцип Сигоша: «В жизни не всегда дважды два — четыре»; грустно, что в нашей и без того уж обездоленной общественной «жизни» принцип этот иллюстрирует себя в вещах такой же важности, «как воздух для дыхания!»

Принимаю участие в общей нашей скорби и шлю Вам с своей стороны благодарность за недолгую, но искреннюю общественную службу.

Ваш покорный слуга Кн. Ал. Кочакидзе»[?].

В публикуемых в этом номере журнала архивных документах содержится указание на то, что редакция «Дрозба» тайком постав-

могут быть требуемы только судебными [органами] и то в известных случаях, вовсе не подходящих к настоящему.

Приняв за сим во внимание, что ни Цензурный Комитет, ни какая другая власть, не имеют возможности установить какой-либо учет в деле разсылки и распродажи газет и зная общее направление убеждений Князя Мачабели и характер его журнальной деятельности, Комитет с полной уверенностью может высказать, что пока Князь Мачабели стоит во главе редакции, газета не изменит ни своего направления, ни тех приемов, которые ныне практикуются.

Вследствие этого Цензурный Комитет, обсудив те меры, которые надлежало бы принять в данном случае, пришел к заключению о положительной необходимости устранить Князя Мачабели от редактирования газеты «Дрозба» и потому постановил: войти с представлением к Господину Главнотачальствующему гражданской частию на Кавказе и на основании 89 и 90 ст. учрежд. управ. Кавк. края т. 11 св. изд. 1885 г. по прод., испросить разрешение Его Сиятельства на предложение издателю газеты «Дрозба» дворянину Картвелову избрать редактором этой газеты другое благонадежное лицо, вместо Князя Мачабели, назначив для сего семидневный срок, с тем, что, если в течение этого срока такое лицо избрано не будет, то издание газеты приостановить впредь до избрания новаго редактора и утверждения его Министром внутренних дел. Если же в назначенный Картвелову срок он укажет такое лицо, которому, по мнению Комитета, можно будет вверить редактирование газеты «Дрозба», то разрешить Комитету допустить это

ляла газету в различные учебные заведения, чтобы в условиях господствовавшего тогда обучения на русском языке грузинская учащаяся молодежь имела возможность приобщаться к родной литературе, а также знакомиться с общественно-политическими событиями на родном языке. Одним из таких учебных заведений была Хонская учительская семинария, основанная в 1884 году на пожертвования местной общественности (была собрана тысяча пятьсот туманов). В это патриотическое начинание внес свой вклад и Иванэ Мачабели, посылавший учащимся семинарии эту газету бесплатно.

Снабжала редакция своей газетой также учащихся Горийской учительской семинарии, которые за несколько месяцев до ее закрытия прислали редактору «Дрозба» следующее благодарственное письмо:

лицо к временному исправлению редакторских обязанностей и с тем вместе войти с представлением об утверждении его редактором.

О таком постановлении Комитета имею честь донести Вашему Снятельству, испрашивая в дальнейшем указаний.

Председатель Комитета [подпись неразборчива]
Секретарь [подпись неразборчива]

(с. 1—3)

**Председатель
Кавказского Цензурного
Комитета**

Конфиденциально

22 февр. 1885 года.

№ 382

в Тифлисе

Милостивый Государь

Александр Александрович

К дополнению к представлению Цензурного Комитета от 21 сего февраля за № 368 об устранении кн. Мачабели от редактирования газеты «Дрозба», считаю нужным пояснить, что испрашиваемая Комитетом мера законом не предусмотрена как отдельная и самостоятельная кара. Высочайше утвержденная 27 августа 1882 г. правила о временных мерах относительно периодической печати устанавливают, что приостановка периодического издания может быть сопровождаема воспрещением редактору или издателю его быть впоследствии редактором или издателем какого-либо периодического издания, при том меры

«Господин редактор!

Мы, учащиеся-грузины Горийской учительской семинарии бесплатно получаем «Дрозба», за что благодарим уважаемую редакцию. На сегодняшний день «Дрозба» наша единственная ежедневная газета, которая знакомит нас с положением в стране, сближает нас, невольно отдаленных от народа, с его жизнью, описывает нам все уголки Грузии, тем самым подготавливая нас к дальнейшей жизни. Разве что безумец будет отрицать значение газеты, но, как говорится: «Несчастливого человека и на подъеме настигнет камень», а для нас как у Руставели: «Ни могилы нигде, ни лопаты, чтобы вырыть».

Не подумайте, что слово «несчастный» приведено для красного словца, о чем покорнейше сообщаем ниже.

Мы уже отметили, что «Дрозба» единственная грузинская

эти принимаются по решению особаго, в этом Высочайшим повелением указанного присутствия. Ходатайствовать о приостановке газеты «Дрозба» хотя бы и на самый малый срок Комитет не счел нужным в виду того, что такая мера представляется слишком серьезною и не соответствующею тому крайне неважному значению, которое имеет вообще этот орган, а между тем мера эта может произвести известную сенсацию среди публики, отнюдь не желательную. Кроме того, хотя в Тифлисе существует два ежедневных издания на грузинском языке, но в настоящее время выходит в свет только одна «Дрозба» и поэтому с приостановлением ее грузинская читающая публика останется вовсе без газеты. Наконец, издатель «Дрозба» дворянин Картвелов пока не скомпрометировал себя ничем в этой своей деятельности и потому есть полное основание думать, что при передаче редактирования «Дрозба» в благонадежные руки газета эта будет поставлена в законные рамки, тем более, что Комитет имеет в виду при передаче издания в другие руки непременно требовать от редакции сообщения имен авторов, за составляемые для этой газеты статьи мера эта довольно ответственная и, по указанию Главного Управления по делам печати, к ней надлежит прибегать только в случаях особенных, но «Дрозба» вызывает эту меру к применению ее, хоть на первое время, несомненно, обуздает газету.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять уважение в истинном моем почтении и преданности.

Покорнейший слуга К. Янимов [?]

(с. 4—5).

газета, вернее, «одна-единственная газета, которую получаем мы, семинаристы». Так вот, представьте, какое значение она для нас имеет, с каким нетерпением мы ждем ее прихода... Ждем, но чаще всего наши ожидания не оправдываются. У вас хоть один цензор, а у нас их сорок и «Дрозба» должна миновать тысячи препятствий, чтобы попасть к нам. Номер, который мы должны получить сегодня, приходит к нам послезавтра, да и то, если минует все препоны. Кроме того, по велению его превосходительства попечителя Кавказского учебного округа и решению нашего педагогического совета (как известно, в семинарии свой «педагогический совет», который состоит из преподавателей), сейчас нам запретят чтение грузинских книг и в их числе газеты «Дрозба» (никаких грузинских книг, кроме допущенных министром). И поэтому высылать «Дрозба» по тому адресу, который был раньше,

От Главноначальствующего

№ 163

1 марта 1885 г.

Господину министру
внутренних дел

Председатель Кавказского Цензурного Комитета довел до моего сведения, что издающаяся в Тифлисе дворянином Картвеловым на грузинском языке ежедневная газета «Дрозба», редактируемая Князем Мачабели, постоянно обращает на себя внимание цензуры тенденциозным сепаратическим направлением. Представляемая на просмотр статьи для этой газеты проникнуты весьма резкими нападками на мероприятия правительства, по преимуществу в сфере духовного и учебного ведомств. Несмотря на то, что такое направление газеты систематически преследуется цензурою и все статьи в смысле вышеупомянутых задерживаются без всякого снисхождения и послабления, редакция газеты с видимым упорством и настойчивостью продолжает вносить на просмотр цензуры статьи в том же духе, совершенно игнорируя делаемые ей цензурою указания. Обращаемая к редакции разного рода законные требования со стороны цензора или Комитета, касающиеся издания, остаются без исполнения, иногда даже без ответа, или же вызывают личную явку в канцелярию Комитета редактора Князя Мачабели, который, делая те или другие словесные заявления, облакает их всегда в форму крайне неприличную и дерзкую.

13 февраля текущего года Попечитель Учебного округа,

не имеет смысла, господин редактор, по первопричине, а если учесть и второе обстоятельство, то совершенно нецелесообразно. В связи с этим, нижайше просим отныне высылать нам газету по следующему адресу: г. Гори, Виссариону Гогохия. Этот человек, как частное лицо, будет передавать нам газету.

Преданные вам учащиеся Горийской учительской семинарии.

1885 г. 28 апреля¹.

Причиной закрытия «Дрозба» послужила статья, помещенная в газете 3 июля 1885 года (№ 140), автором которой был Илья

¹ Литературный музей имени Г. Леонидзе Республики Грузия. Личный фонд Иванэ Мачабели, № 25460.

указывая вообще на дурное влияние, которое может иметь «Дрозба», на учащееся юношество неправильным объяснением распоряжений учебного начальства и устремлением подорвать в учащихся доверие к устанавливаемым в учебных заведениях порядкам, сообщил, между прочим, что редакция этой газеты высылает в Хонскую учительскую семинарию свое издание под особой бандеролью на имя учеников грузин семинарии, вследствие чего Тайный Советник Яновский просит не допускать печатания в «Дрозба» статей, заключающих неверные сведения об училищах округа и воспретить редакции распространять газету между воспитанниками учебных заведений.

Относительно первого вопроса Комитет сделал распоряжение, чтобы ни одна статья, касающаяся учебного ведомства и предназначенная для помещения в газете «Дрозба», не была пропускаема без предварительного сношения с учебным начальством.

Что же касается незаконного водворения этой газеты в учебных заведениях, то Комитет, в настоящем случае, лишен возможности не только принять какая-либо меры к прекращению этого водворения, но даже и следить за разсылкою газет, так как закон не устанавливает никакого контроля цензуры за высылкою изданий подписчикам. При этом цензурный Комитет заявляет, что более чем вероятно, что «Дрозба» высылается редакциею не только в Хонскую семинарию, но и в другие заведения в крае и нет сомнения, что, если бы предложено было редакции прекратить эту высылку, то такое распоряжение не имело бы никаких последствий. Доказательством этому

Чкония. В аллегорической форме, в достаточно резком фельетонном тоне им преподносились читателю бесчинства русских чиновников в провинциях Грузии, в данном случае в Гурии, где они чувствовали себя полноправными хозяевами.

Вся документация из этой подборки, кроме четырех последних кусков, находящихся в Литературном музее имени Г. Леонидзе Республики Грузия (личный фонд Иванэ Мачабели, № 25460) взяты из ЦИА Республики Грузия. Это—материалы Канцелярии Главного начальствующего гражданской частью на Кавказе — фонд № 12, опись № 8, единица хранения № 128. Под приводимыми документами указаны лишь страницы.

Нелли БОСТАШВИЛИ

Комитет приводит то обстоятельство, что по получении упомянутого отзыва Попечителя, Комитет запросил редакцию, по чьему требованию высылаются «Дроэба» в Хонскую семинарию, и если такого требования семинария не предъявляет, то на каком основании это делается? На это редакция ответила, что операция разсылки газет, составляющая спекулятивную часть дела, производится по торговым книгам, которые составляют коммерческую тайну и сведения из них могут быть требуемы только судебными [органами] и то в известных случаях, вовсе не подходящих к настоящему.

Так как ни Цензурный Комитет, ни какая другая власть, не имеют возможности установить какой-либо учет в деле разсылки и распродажи газет, то в виду этого и зная общее направление убеждений Князя Мачабели и характер его журнальной деятельности, Комитет с полною уверенностью может высказать, что пока Князь Мачабели стоит во главе редакции, газета не изменит ни своего направления, ни тех приемов, которые ею ныне практикуются, и потому находит положительно необходимым устранить Князя Мачабели от редактирования газеты «Дроэба», о чем и вошел ко мне (на основании от 89 и 90 ст. 11, ч. 11, Упр. Кавк. края по прод. 1883), с представлением, испрашивая разрешения на предложение издателю газеты «Дроэба» дворянину Картвелову избрать в семидневный срок редактором этой газеты другое благонадежное лицо, вместо Князя Мачабели, и если в этот срок будет указано такое лицо, которому можно, по мнению Комитета,верить редактирование газеты «Дроэба», то разрешить допустить это лицо к временному исправлению редакторских обязанностей и с тем вместе войти установленным порядком с представлением об утверждении его редактором, в противном же случае, т. е. если Картвеловым не будет в назначенный срок избрано такое лицо, то издание газеты приостановить впредь до избрания и утверждения нового редактора.

Вполне разделяя приведенное заключение Цензурного Комитета, я не нахожу, однако, чтобы оно по свойству своему требовало безотлагательных собственною моею властью распоряжений. А потому сообщая об изложенном Вашему Сиятельству, я имею честь покорнейше просить разрешения на применение к газете «Дроэба» испрашиваемой Кавказским Цензурным Комитетом меры, которую я считаю необходимою по следующим соображениям. Хотя мера эта законом и не предусмотрена, а [вследствие] вредного направления периодического из-

дания, закон предоставляет [право] приостановить таковое на срок и даже совершенно прекратить, но применение этого закона в газете «Дрозба» хотя бы и на самый малый срок я признаю весьма нежелательным, как в виду того, что такая мера представляется слишком серьезною и не соответствующую тому крайне не важному значению, которое имеет вообще этот орган, так и потому, что приостановка означенного издания хотя бы и на самый короткий срок может произвести известную сенсацию среди публики, отнюдь не желательную. При этом нельзя не принять во внимание и того обстоятельства, что с приостановлением выхода в свет газеты «Дрозба» грузинская читающая публика останется без газеты, так как из издающихся в Тифлисе двух ежедневных газет на грузинском языке, в настоящее время выходит в свет только одна «Дрозба» и что издатель ее, дворянин Картвелов, пока не скомпрометировал себя ничем в этой своей деятельности и потому есть полное основание думать, что при передаче редактирования «Дрозба» в благонадежные руки газета эта будет поставлена в законные рамки. О последующем благоволите, Ваше Сиятельство, почтить меня уведомлением.

23 февр. 1885 г.

(с. 6—12)

М. В. Д.
Главное управление по
делам печати.
6 апреля 1885 года
№ 1213

Господину Главномначальствующему
гражданскою частию на Кавказе.

В отношении за № 163, Ваше Сиятельство, согласно представлению Председателя Кавказского Цензурного Комитета, изволили выразить мнение о необходимости, в виду систематического игнорирования газетой «Дрозба» требований цензуры, предложить издателю ее, г. Картвелову, избрать в семидневный срок редактором этой газеты другое благонадежное лицо, вместо Князя Мачабели, в противном же случае издание газеты приостановить впредь до избрания и утверждения нового редактора.

Вследствие сего имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что закон не представляет Министру внутренних дел права требовать замены утвержденнаго редактора другим лицом, за исключением случаев, прямо указанных в ст. 31, прил. к ст. 4 Уст. Ценз., по прод. 1876 г. Кроме того, практика показала,

что замена одного лица другим почти никогда не приводит к благоприятным результатам, так как новое лицо может быть лишь подставным, фиктивным редактором, на самом же деле изданием по-прежнему будет руководить то самое лицо, которое устранено от этих обязанностей. Не допускать в газетах проявления вредных тенденций, а тем более резких нападков на мероприятия Правительства, по мнению моему, предварительная цензура имеет полную возможность, не прибегая ни к каким исключительным мерам, для этого необходимо лишь строгое и внимательное отношение цензоров к просматриваемым ими статьям. В таком издании как газета «Дрозба» цензурою не должны быть одобряемы не только статьи, заключающие в себе резкия нападки на действия и мероприятия Правительства, но и статьи, не вполне соответствующие вообще его видам и намерениям. Такое прямое воздействие цензуры на просматриваемое ею издание несомненно понудит издателя, во избежание значительных убытков, или совершенно отказаться от продолжения своей деятельности, или изменить личный состав редакции. Заметное для всех в последние годы понижение вызывающего и неблагоприятного для Правительственных мероприятий тона столичных безцензурных газет произошло вовсе не от изменения личного состава редакции, а единственно вследствие ясных и определенных требований цензуры. Достигнуть таких же благоприятных результатов по отношению к изданиям подцензурным значительно легче, так как в них не может быть помещено ни одной статьи без предварительного просмотра. По поводу запрещаемых статей ни цензор, ни Комитет не обязаны входить ни в какие личные объяснения с редактором. Если же редактор газеты «Дрозба» позволит себе печатать что-либо, не разрешенное цензурою, то издание это должно быть лишено права, предоставляемого ст. 69 Уст. Ценз., т. е. права выхода в свет до получения на каждый отпечатанный номер выпускного билета, согласно ст. 68 того же Устава.

Управляющий Министерством внутренних дел
Статс-секретарь
Заведывающий делопроизводством, член Совета
[подписи неразборчивы]

(с. 13—15)

По поводу представления Вашего Превосходительства от 21 февраля сего года за № 367, основанного на постановлении Кавказскаго Цензурнаго Комитета, г. Главнoначальствующим было сделано сношение с Министром внутренних дел о необходимости, в виду систематическаго игнорирования газетой «Дрозба» требований цензуры, предложить издателю ея, г. Картвелову, избрать в семидневный срок редактором этой газеты другое благонадежное лицо, вместо Князя Мачабели, в противном же случае издание газеты приостановить впредь до избрания и утверждения новаго редактора.

Из полученнаго нами отзыва Управляющаго Министерством внутренних дел от 6 сего апреля за № 1213 усматривается, что так как закон не представляет Министру внутренних дел права требовать замены утвержденного редактора другим лицом, за исключением случаев, указанных в ст. 31 прил. к ст. 4 Уст. Ценз., по прод. 1876 г., то Статс-секретарь Дурново не находит возможным удовлетворить ходатайство Кавказскаго Цензурнаго Комитета, а полагает, что, если редактор газеты «Дрозба» позволит себе печатать что-либо, не разрешенное цензурою, то издание это должно быть лишено права, представляемаго ст. 69 Уст. Ценз., т. е. права выхода в свет до получения на каждый отпечатанный номер выпускнаго билета, согласно ст. 68 того же Устава.

Об этом Канцелярия Главнoначальствующаго имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, впоследствии означеннаго Вашего представления за № 368, с препровождением в копии и помянутаго отзыва за № 1213.

(с. 16—17)

Приложения к продолжению 1876 г. Св. Зак. т. XIV уст. Цензурн. Ст. 49. Министру внутренних дел предоставляется, в случае вреднаго направления какого-либо периодическаго издания, подлежащаго предварительной цензуре, прекращать каждое таковое периодическое издание на срок не более восьми месяцев.

Ст. 52. Если, после третьяго предостережения, Министр внутренних дел признает нужным, независимо от предваритель-

наго приостановления повременного издания на известный срок, вовсе прекратить это издание, то он входит о сем с представлением в первый Департамент Правительствующаго Сената.

Прил. ст. 52 (по прод. 1876 г.) Примечание.

В 1882 г., положением Комитета Министров постановлено: вопросы о совершенном прекращении повременных изданий (не исключая и арендуемых у правительственных и ученых учреждений), выходящих как под предварительною цензурою, так и без нея, или о приостановке их без определения срока ея с воспрещением редакторам и издателям оных быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий, предоставляются совокупному обсуждению и разрешению Министров: внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер прокурора Святейшаго Синода, при участии сверх того и тех Министров или Главноуправляющих отдельными частями, коими возбуждаются подобные вопросы. Порядок решения таких дел подчиняется общим для коллегияльных учреждений основаниям.

(с. 18)

**Сведения, сообщенныя цензором
Исарловым**

Издающаяся в Тифлисе грузинская газета «Дрозба» под редакторством Кн. Мачабели постоянно обращала на себя внимание цензуры тенденциозным и сепаратистическим направлением. Представляемые для этой газеты статьи проникнуты враждебным против России духом, резкими нападками на распоряжения правительства и порицаниями против мероприятий местной полиции, духовенства и учебного ведомства. Несмотря на то, что подобныя статьи непрерывно систематически преследуются цензурою и воспрещаются для печати, тем не менее редакция газеты не перестает продолжать с упорством представлять на просмотр цензуры статьи в том же духе и направлении, не обращая внимания на делаемыя цензурою замечания и указания.

Статей для «Дрозба», задержанных цензурою и воспрещенных для печати и приобщенных к делам Цензурнаго Комитета было:

В 1884 году — 59

по 24 июля 1885 года — 32

Независимо от сего из дозволенных цензурою для печат-

ти статей почти ежедневно вымарывались ею значительные места, которые по цензурным правилам не могли быть разрешены на печати.

О противоправительственном духе и вредном направлении этой газеты, независимо от постоянных наблюдений и замечаний Цензурного Комитета, замечали как Экзарх Грузии, так и Попечитель Кавказского Учебного Округа по тем статьям, которые на основании циркулярных распоряжений Министра внутренних дел 31 мая 1881 г. № 19, апреля 1882 года Цензурный Комитет посылал к ним на предварительные их заключения и которые также воспрещались для печати.

Об редакторе Кн. Мачабели донесено Цензурным Комитетом бывшему Начальнику Главного Управления Наместника Кавказского 7 апреля 1882 года № 331' и председателем Комитета Его Сиятельству Главноначальствующему 21 февраля сего года № 368'.

Содержание некоторых из упомянутых выше статей «Дрозба», запрещенных Цензурным Комитетом, следующее:

В 1884 году

1. Под названием «Какое время извиняться?» направлено к возбуждению грузинского дворянства против крестьянского сословия (запрещено 25 февраля 1884 г.)

2. Передовая статья сепаратистического направления, толкует, что теперь-то и начали сознавать в себе народную силу (запрещ. 8 августа).

3. Передовая статья того же направления, приглашая соединиться, подать друг другу руку (запрещена 28 ноябр.).

4. Стихотворение под названием «Деве № », в котором Россия представлена в виде Северной холодной девы, которой предлагается отстать, отделиться от этой страны (запрещено 18 декабр. 1884).

В 1885 году

5. Стихотворение, означенное звездочками, в котором приглашается народ грузинский к возстанию (запрещ. 2 января).

6. Передовая статья об изучении всего грузинского для восстановления национальности грузинской (запрещ. 9 январ.).

7. Передовая статья «Разные системы управления присоединенными странами», направленная против правительства по отношению к Грузии (запрещ. 16 январ.).

8. Стихи «Пастух» — описывается Царь и его окружающие в неприличном виде (запрещ. 30 январ.).

9. Статья «Наше, но не для нас» — против народного просвещения (запрещена 13 марта).

10. «Песня», которая начинается словами «Кто же сказал про Грузию, что эта львица уже умирает», приглашая затем собраться всем и взяться за оружие против врагов (запрещено 24 апреля).

11. Статья под названием «Сатрапы Горийского уезда» описывает уездного начальника и его чиновников и их действия в неприличном виде (запрещ. 17 июля).

(с. 19—20).

«Дрозба» № 140-й 1885 года

Из жизни Гурии. Ходжа и молла. Желание исполнить роль судьи, приговор. Крючкотворство Иуды Искарюта. Выселение отцов семейств по милости одного господина. Рассказ о том, что пропал девятилетний мальчик, продан в плен. Веселье лакеев на одной улице. Телеграмма и песни одного певца.

В субботу утром Персидский ходжа позвал в свой кабинет моллу, [направленного] в Дуабзу (село в Гурии) и, хитро улыбнувшись, секретно передал ему свое душевное желание: «Виссарион!.. Достаточно нам спать... Достаточен столь продолжительный покой овцам нашего уезда, которых мы имеем право стричь. Пора возбудить в их организмах чувство страха и после... Затем, Виссарион, согласно моей инструкции закинь удочку и сеть в мутную воду. Ох, ох, голубчик Бесса, что же ты закрыл глаза, разве забыл, что в удочку и сеть попадают вместо рыбы красные, красненькие?! Поварачивайся, хайда, марш». Моментально поварачивается молла Виссарион и улетучивается, раза два почесав лоб, посмотрев на небо и помолившись своему аллаху: «Помоги мне исполнить дела». Вы не думайте, что Персидский ходжа и молла настоящие ходжа и молла, нет, официально они такие же православные христиане, как и другие, но народ окрестил их так потому, что эти господа, подобно ходже и молле, считают себя учеными и полагают, что сверх своей обязанности они вправе решать все вообще житейские дела, поэтому они, как тринадцатый поросенок, вмешиваются и портят дела, которых ни по Божию, ни по людскому закону они не должны касаться. Слабую сторону настоящих ходжи и моллы составляет их желание быть врачами, но каково долж-

жно быть их врачевание — это каждому известно. Слабую же сторону наших Персидских ходжи и моллы Виссарииона составляет их желание играть судейскую роль. Суд их в их сфере похож на врачебную помощь настоящих ходжи и моллы, с тою только разницею, что последние своим лечением отправляют пациентов на тот свет, а первые хотя и не отправляют туда, не берут от них разного рода взятки и делают их жизнь затруднительною, а затем, на основании разных незаконных приговоров ссылают то в Батум, то в Тверскую губернию. Теперь мы вернемся к главной идее нашего повествования. Молла Виссариион понял указание ходжи, тем более, что он не в первый раз практикуется в этом и постарался это простое желание привести в исполнение. Он стал гулять по базару, но в особенности против тех духанов, где продается огонь вода (имеется в виду водка), позвал Масикела, Гогитела и им подобных шесть бедных торговцев с пустыми карманами и сказал им: «Ходжа приказал вам теперь же выбрать всех воров в Озургетах и составить приговор о выселении их!» К удивлению моллы, Масикела, Гогитела и товарищи их не оказались такими послушными рабами, какими их считал молла, они ответили: «Выставлять людей в качестве воров не наше дело, молла. Мы не судьи. Ради Бога, не впутывайте нас в эту беду». Так как вы отказываетесь, то мне приказано ходжей позвать вас к нему, прошу пожаловать». Что же могли сделать Масикела, Гогитела и товарищи их? Встали и пришли к ходже, который подобно молле, выслушав ответ на предложение, вынул какую-то бумагу, по-арабски написанную, прочел ее и через моллу передал Масикеле и товарищам его: «Если вы моего желания не исполните, вы такие люди, что воров скрывать желаете, а потому знайте, что кроме вас никого не выселю». — Крестьяне, выросшие в Суреском лесу и получившие воспитание на берегу р. Бзудуки, испугались и выбрали одного в качестве вора, но, к удивлению ходжи, из трусости или для насмешки они выбрали шпиона ходжи — какого-то Б-таишвили. Тогда ходжа вынул вновь бумагу, стал молиться: «Бисмиллал-Илламиу» и затем, посмотрев на моллу, приказал привести конных людей. «Аллах-Биглур, я не хотел оскорбить Вас, но так как Вы скрываете воров и преследуете таких бедных и честных людей, как Б-таишвили, то я вас теперь же отправлю поэтому в Батум». Привести конных людей нашли ненужным. Масикела и его товарищи выбрали в качестве воров до шести человек и подписали составленную моллою бумагу о выселении этих лиц.

Насколько искренно и честно составлен приговор — это видно из того, что лица, подписавшие его, тогда же стали раскаиваться подобно Иуде Искариоту, говоря, что они погубили совершенно напрасно невинных. В таком случае многие, пожалуй, скажут, что не стоит говорить о глупостях какого-то ходжи, так как уверены, что все это, лишенное всякой законности, останется без последствий, или же окончится тем, что отстранят самого ходжу. Дело в том, что ходжа находится под покровительством дели баши¹ Ухимерионели², по милости которого незаконными решениями вынуждает поселян выезжать из уезда в другие места, вследствие такого лиходеяния они часто остаются на новом месте жительства без куска хлеба и часто поневоле берутся за пакости. Ведь не один и не два подвергались этой участи, они не могли угодить прислуге ходжи и потому им пришлось пуститься в ту сторону, куда Макар ни разу овец не гонял.

В селении Шемокмеди случилось одно событие, которое должно иметь место в истории средних веков, а не на столбце газеты в конце 19-го века. В одно прекрасное июньское утро один девятилетний чернобровый крестьянский мальчик отправился в лес собирать сухия ветви, свалившиеся с деревьев, он собрал их, но что с ним случилось затем неизвестно, знают только, что не похищен ни небом, ни землею, ни водой, ни зверем. Но есть слух, а глас народа — глас Божий, что его продали в плен. Если это так, то неудивительно, что местная администрация не нашла следов жертвы, в таких случаях для первоначального расследования необходим Лекок, и не мордобитием достигнуть повышения.

Так как речь пошла о людях, у которых в это время идет веселье, то следует сказать, что лакеев ласкают, выдвигают их вперед и дают им полную свободу, например, у старшего, которому народ дал другое название и о котором говорили выше, был недавно пир, вызванный полученной им благодарностью, в котором участвовали все здешние лакеи. Вино Гогвадзе осушали ведрами и бечи Ломджария³ уничтожали десятками; по окончании пира старший лакей послал следующую благодарственную телеграмму: «Язык не может изъяснить, на-

¹ Дели баши — местное турецкое название начальника.

² Ухимерионели — старинное название пририонского края.

³ Гогвадзе, Ломджария — гурийские разбойники.

сколько мне приятна Ваша благодарность. Вы считаете меня пекущемся о народе, говоря по правде, этой благодарности я не заслужил, она доказывает Ваше внимание ко мне. Вы желаете меня выдвинуть вперед и сделать человеком, на которого бы показывали пальцем. Благодарю Бога и целую Ваши стопы». Говорят, что эта телеграмма попала в руки одного бродячего певца и он пропел на чангуре следующее:

«Озургети приходят в упадок,
Здесь нет счастья,
Приходите и полюбуйтесь...»

(с. 21—24)

От
Главначальствующаго
6 августа 1885 года
№ 7892

Г. Управляющему Министерством
внутренних дел

В г. Карсе

Отзывом от 1-го марта сего года за № 163 я доводил до сведения Министерства о тенденциозном сепаратистическом направлении грузинской газеты «Дрозба», редактируемой Князем Мачабели, и просил об устранении последняго от редактирования этой газеты как лица, не соответствующаго видам правительства и по общему направлению своих убеждений, и по характеру журнальной деятельности, с предоставлением издателю оной, дворянину Картвелову — не скомпрометировавшему пока себя в означенной деятельности, избрать редактором другое благонадежное лицо. Мереу эту я признавал необходимою и в том еще соображении, чтобы не лишать грузинской читающей публики этой единственной ежедневной грузинской газеты, но Ваше Превосходительство (отзыв от 6 апреля за № 1213) не изволили признать возможным применить эту меру, как не предусмотренную законом. Между тем редактор газеты «Дрозба» Князь Мачабели не перестает, как доведено до моего сведения, представлять в цензуру, для помещения в этой газете, статьи, проникнутыя враждебным правительству духом, резкими порицаниями распоряжений местнаго административнаго, духовнаго и учебнаго начальства и хотя подобныя статьи преследуются цензурою и воспрещаются к печати, тем

не менее статьи подобного свойства, в иносказательной и по-
тому цензурной форме, проникают в газету и производят в из-
вестной местности и среди известного населения желательное
для редакции весьма возбуждающее и вредное впечатление.
Так, например, в одном из последних номеров газеты «Дрозба»
появился фельетон из жизни Гурии, инсинуирующий в форме
крайне дерзкой насмешки деятельность местного начальника и
его помощника. Под именами персидских ходжи и моллы, фе-
льетон этот представляет в самом неприличном и оскорбитель-
ном виде высших должностных лиц в уезде, порицает принятыя
высшею в крае властью меры административной высылки по-
рочных лиц по приговорам общества, распространяет в нераз-
витой, но крайне восприимчивой массе местного населения
ложныя сведения, подрывающия доверие и уважение к вла-
стям, повествует о событии, в котором местный начальник фи-
гурирует среди разбойников и лакеев, и наконец издевается
над объявленою мною, вследствие особаго ходатайства попе-
чителя Кавказскаго Учебнаго Округа, благодарностью за при-
мерную деятельность местного начальника по распространению
народнаго образования.

Такой образ действия и направления газеты «Дрозба»,
стремящейся возбуждать неудовольствие среди туземнаго на-
селения вверенаго мне края и недоверие к властям и прави-
тельственным распоряжениям, вынуждает меня просить о при-
остановлении издания этой газеты.

Насколько развит в газете «Дрозба» противоправительст-
венный дух и вредное направление, может служить доставлен-
ный мне Кавказским Цензурным Комитетом перечень следу-
ющих статей, представленных разновременно для помещения
в этой газете, но не разрешенных цензурою:

А. Под названием «Какое время извиняться», направлен-
ное к возбуждению грузинскаго Дворянства против крестьян-
скаго сословия.

Б. Передовая статья сепаратистическаго направления,
приглашающая соединиться для подачи друг другу руки.

В. Стихотворение под названием «Деве №», в коем Россия
представлена в виде Северной холодной девы, которой предла-
гается отстать, отделиться от нашей страны (Грузия).

Г. Стихотворение, означенное звездочками, в котором на-
род грузинский приглашается к возстанию.

Д. Передовая статья о необходимости изучения всего гру-
зинскаго для возстановления национальности.

Е. Статья «Разныя системы управления присоединенными странами», направленная против Правительства по отношению к Грузии.

Ж. Стихи «Пастух», в которых описывается царь и его окружающие в неприличном виде.

З. Песня «Кто же сказал про Грузию, что эта львица уже умирает», приглашающая собраться всем и взяться за оружие против врагов.

И. Статья «Сатрапы Горийскаго уезда», описывающая действия Уезднаго начальника и подчиненных ему чинов в неприличном виде.

Сообщая о выше изложенном Вашему Превосходительству и принимая во внимание, что перечень означенных статей, взятых на выдержку, достаточно свидетельствует о враждебном правительству и политически неблагонамеренном настроении редакции газеты «Дрозба», от котораго она, по-видимому, не желает отрешиться, я вынужденным нахожусь покорнейше просить Ваше Превосходительство применить к газете «Дрозба» Высочайше утвержденное в 1882 г. положение Комитета Министров (т. XIV, Уст. Ценз., по прод. 1883 г. прилож. к ст. 52 примечание), т. е. приостановить издание ея без определения срока с воспрещением издателю дворянину Картвелову и редактору оной, Князю Мачабели, быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий.

К сему считаю не лишним присовокупить, что, ходатайствуя о применении к газете «Дрозба» именно этой меры, а не временнаго приостановления ея с правом впоследствии Князю Мачабели и дворянину Картвелову явиться журнальными деятелями, я руководствуюсь нижеследующими соображениями: характер и направление «Дрозба» с полною очевидностью доказывают, что руководители этого органа стали в оппозицию как правительству вообще, так и администрации края в особенности. Никогда и ни в каком случае газета не являлась честной и добросовестной исполнительницей того или другаго мероприятия правительства или администрации, но напротив всегда и с необыкновенным упорством она стремится подвергать критике и насмешке все, что предпринимается на пользу грузинскаго населения. К сожалению, другаго, благонамереннаго органа на грузинском языке в крае нет и, следовательно, всякое ложное толкование или тенденциозное сообщение «Дрозба» остается без критики или опровержения на этом же

языке, а потому существенно важно и крайне необходимо, чтобы издающийся на грузинском языке печатный орган находился в руках лиц, преданных правительству и его целям, а не прямо враждебных, каковыми являются настоящие редактор и издатель «Дрозба».

Подписал: Генерал-адъютант Князь Дондуков-Корсаков
Верно: за делопроизвод. А. Самоиленков [!]

с. (25—30)

Его Сиятельству, Господину Главнoначальствующему гражданскою частью на Кавказе, Генерал-адъютанту Князю Александру Михайловичу Дондукову-Корсакову

Издателя Грузинской газеты «Время»
(«Дрозба») Георгия Давидовича Картвелова

Заявление

В виду того, что ответственный редактор издаваемой мною грузинской газеты «Дрозба» Кандидат естественных наук Князь Иван Георгиевич Мачабели слагает с себя сие звание, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство ходатайствовать об утверждении в звании ответственного редактора газеты «Дрозба» Князя Ильи Григорьевича Чавчавадзе, редактора-издателя издающагося ныне ежемесячнаго журнала «Иверия».

При сем имею честь заявить, что об этом уже представлены заявления в Главное Управление по делам печати сего же числа.

Георгий Давидович Картвелов
22 августа 1885 г.
г. Тифлис

(с. 31)

Председатель Кавказскаго
Цензурнаго Комитета

28

—августа 1885 года

29

№ 1811

В Тифлисе

Милостивый государь Владимир Петрович

22 числа текущаго августа в Цензурный Комитет поступили заявления на имя Главнаго Управления по делам печати

от издателя грузинской газеты «Дрозба» г. Картвелова, редактора этой газеты Кн. Мачабели и редактора-издателя грузинского ежемесячного журнала «Иверия» Кн. Чавчавадзе, в кои же они ходатайствуют о передаче редактирования «Дрозба» от Кн. Мачабели Князю Чавчавадзе.

В виду того, что Князь Главноначальствующий изволил возбудить вопрос о приостановлении издания «Дрозба» с лишением Картвелова и Князя Мачабели права издавать повременные издания, я нахожу неудобным дать движение этим заявлениям и считаю долгом своим препроводить их к Вам для доклада Его Сиятельству.

С своей стороны считаю необходимым сообщить, что передача «Дрозба» Князю Чавчавадзе отнюдь нежелательна по следующим соображениям. Хотя редактором-издателем «Иверии» является Кн. Чавчавадзе, но, как известно цензуре, Кн. Мачабели принимает столь близкое участие в издании этого журнала, что тсн и направление «Дрозба» и «Иверии» в общем аналогичны. Если «Иверия» не вызывала таких нареканий как «Дрозба», то потому, что Кн. Чавчавадзе не прибегал никогда к тем недостойным выходкам, которые позволяла себе «Дрозба», и всегда подчинялся требованиям и указаниям цензуры, но нет сомнения в том, что он не устранил Кн. Мачабели от ближайшего участия в заведывании газетою «Дрозба» и предполагаемая передача в существе будет совершенно фиктивна: хозяином дела, по-прежнему, останется Кн. Мачабели. Нет даже повода предполагать, чтобы Кн. Чавчавадзе принял какия-либо меры к изменению направления «Дрозба», напротив того, их совместное служение в Дворянском земельном банке, где Кн. Чавчавадзе состоит председателем, а Кн. Мачабели членом правления, показывает, что их интересы общи не только в журнальном деле и разрушать существующую между ними солидарность они, конечно, не будут.

Прилагая при сем вышеупомянутыя заявления г. Картвелова и Кн. Чавчавадзе и Мачабели, имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности

покорнейшаго слуги — К. Янимов. [?]

с. 32—33)

**Императорский Телеграф
Тифлис**

Телеграмма № 102822

Подана с Петербурга 1885 г. 2 ч. 30 м.

Получена в Тифлис 1885 г. 6 ч. 15 м.

Тифлис.

Главначальствующему гражданской частию на Кавказе

На основании примечан: к ст. 52. прилож. к ст. 4. примеч. Уст. ценз. по прод. 1883 года издание газеты «Дрозба» вовсе прекращено. Прошу сделать соответствующее распоряжение.

Управляющий Министерством внутренних дел Статс-секретарь Дурново

(с. 34)

От Канц.

№ 9115

16 сентября 1885 г.

Дело № 40

—

85 г.

**Господину Председателю Кавказского
Цензурного Комитета**

Управляющий Министерством внутренних дел, впоследствии отзыва г. Главначальствующаго от 6-го истекшаго августа за № 7892 о приостановлении издания грузинской газеты «Дрозба» без определения срока, с воспрещением издателю дворянину Картвелову и редактору Князю Мачабели быть впоследствии редакторами или издателями каких-либо других периодических изданий, — телеграммою на имя Его Сиятельства от 14-го сего сентября уведомил, что на основании примечания к ст. 52 прилож. к ст. 4 т. XIV Уст. ценз. по прод. 1883 года издание газеты «Дрозба» вовсе прекращено.

Об этом Канцелярия по приказанию Главн-го имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, для соответствующаго распоряжения.

(с. 35)

От Канц.

№ 9116

16 сент. 1885 г.

Дело № 40

В редакцию газеты «Кавказ»

КАВКАЗ
საქართველო
საბჭოთაო

—
85

По приказанию г. Главногоначальствующаго, Канцелярия имеет честь покорнейше просить редакцию газеты «Кавказ» отпечатать в завтрашнем номере газеты «Кавказ» на первой странице, в официальной части ея, прилагаемое при сем объявление о прекращении издания грузинской газеты «Дрозба».

За Дир. Вице Дир. [подпись неразборчива]
(с. 36)

№ 1342

—
1742

Управляющий Министерством внутренних дел 14 сего сентября известил г. Главногоначальствующаго гражданскою частию на Кавказе, что на основании примеч. к ст. 52 прилож. к ст. 4-ой т. XIV Уст. Ценз. по прод. 1883 г. издание грузинской газеты «Дрозба» вовсе прекращено.

Верно: помощник делопроизвод. А. Симоненко. [?].
(с. 37)

Упра-щаго

Канцеляриею

№ 9733

27 сентября 1885 г.

Его Прев-ству К. В. Акилову

№ 40

—
85

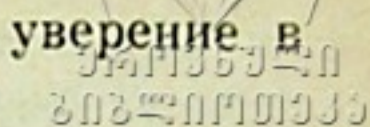
Милостивый Государь

Константин Васильевич

За состоявшимся распоряжением о прекращении вовсе издания грузинской газеты «Дрозба», имею честь, по поручению г. Главногоначальствующаго возвратить к Вашему Превос-ству доставленные при письме Вашем от 28 истекшаго августа за № 1811 заявления бывших издателя грузинской газеты «Дрозба» Картвелова и редактора этой газеты Князя Мачабели, а так же и редактора-издателя грузинскаго ежемесячнаго журнала «Иверия» Князя Чавчавадзе о передаче редактирования «Дрозба» от Князя Мачабели князю Чавчавадзе.

184

Просим Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности.



უფროსი ბიბლიოთეკის
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა

Подписал Вл. Рогге

Верно: пом. делопроизв. А. Симоненко [?]

(с. 38).

**В Главное Управление по делам печати
Князя Ивана Георгиевича Мачабели**

Прошение

В течение 1883, 1884 и 1885 годов мною редактировалась в Тифлисе под предварительной цензурой грузинская ежедневная политическая и литературная газета «Дрозба» («Время»), которая в примечание к § 52 (продолжение 1874 г. Цензурного Устава) в сентябре 1885 г. была прекращена. Желая возобновить под своею же редакцией издание означенной газеты, имею честь покорнейше просить Главное Управление по делам печати испросить на то разрешение г. Министра внутренних дел.

Предлагаемая программа газеты «Дрозба» при сем прилагается.

Газету буду издавать ежедневно за исключением после-праздничных дней.

Подписная цена: с пересылкой и доставкой на год 9 руб., на полгода 5 руб., на 3 месяца — 3 руб., на месяц 1 руб. 20 к.

Издание будет печататься в типографии грузинского издательского Товарищества.

Редакцию издания принимаю на себя я, издатель.

Жительство имею в г. Тифлисе, Ольгинская ул., д. № 40.

Настоящее прошение подается в Кавказский Цензурный Комитет для представления в Главное Управление по делам печати.

При сем прилагаю копию с диплома, выданного мне Советом Императорского Санктпетербургского университета.

Кн. Иван Мачабели

9 января 1897 года, г. Тифлис

Предполагаемая программа газ. «Дрозба»

- I. Правительственные распоряжения.
- II. Телеграммы собственные и Правительственных агентов.
- III. Передовые статьи по вопросам внутренней и иностранной жизни.

- IV. Местная хроника.
- V. Корреспонденции.
- VI. Хроника русской жизни.
- VII. Иностранная хроника.
- VIII. Судебная хроника.
- IX. Критика и библиография.
- X. Научные статьи.
- XI. Театр и музыка.
- XII. Мелкия известия.
- XIII. Фельетоны, стихотворения, повести, рассказы и дру-
гия беллетристическия произведения.
- XIV. Справочныя сведения.
- XV. Частныя объявления.

Кн. Иван Георгиевич Мачабели

СЕКРЕТНО

**Министерство
внутренних дел**

**Кавказский
Цензурный Комитет**

**Господину Начальнику Главнаго
Управления по делам печати**


18 января 1897 г.

№ 192

г. Тифлис.

Имею честь препроводить к Вашему Превосходительству прошение Князя Ивана Мачабели о разрешении ему возобновить под его редакторством издание грузинской, ежедневной, политической и литературной газеты «Дрозба», прекращенной в 1885 г. при нижеизложенных обстоятельствах.

В марте месяце 1885 г. бывший Главноначальствующий гражданскою частию на Кавказе, Генерал-адъютант Кн. Дондуков-Корсаков довел до сведения Министерства внутренних дел о тенденциозном направлении газеты «Дрозба», редактируемой Кн. И. Мачабели, и просил об устранении последняго от редактирования этой газеты, как лица, не соответствующаго видам Правительства, ни по общему направлению своих убеждений, ни по характеру журнальной деятельности, с предложением издателю оной дворянину Картвелову избрать редактором другое благонадежное лицо, но г. Управляющий Министерством не признал возможным применять эту меру, как не предусмотренную законом.



Между тем, редактор газеты «Дрозба» не переставал представлять в цензуру статьи, проникнутые враждебным Правительству духом, резкими порицаниями распоряжений местного административного, духовного и учебного начальства, подобного рода статьи в иносказательной форме проникали в газету и производили желательное для редакции весьма возбуждающее и вредное впечатление.

Такой образ действий и направление газеты «Дрозба», стремившейся возбуждать неудовольствие среди туземного населения и недоверие к властям и правительственным распоряжениям, вынудили Главного начальствующаго просить о приостановлении издания этой газеты.

Ходатайствуя о применении к газете «Дрозба» именно этой меры, а не временного приостановления ее с правом впоследствии Кн. Мачабели и дворянину Картвелову явиться журнальными деятелями, Генерал-адъютант Кн. Дондуков-Корсаков имел в виду, что характер и направление «Дрозба» с полною очевидностью доказывает, что руководители этого органа стали в оппозицию как Правительству вообще, так и администрации края в особенности. Никогда и ни в каком случае газета не являлась честной и добросовестной истолковательницей того или другаго мероприятия Правительства, но напротив всегда с необыкновенным упорством она стремилась подвергать критике и насмешке все, что предпринималось на пользу грузинскаго населения. Другаго благонамереннаго органа на грузинском языке в то время на Кавказе не было и, следовательно, всякое ложное толкование или тенденциозное сообщение «Дрозба» оставалось без критики или опровержения на этом же языке.

Вследствие отзыва Главного начальствующаго по этому предмету от 6 августа 1885 г. за № 7892, г. Управляющий Министерством внутренних дел уведомил Его Сиятельство телеграммою от 14 сентября, что на основании примечания к ст. 52 прилож. к ст. 4 т. XIV Уст. Цемз. по продол. 1883 г. издание грузинской газеты «Дрозба» вовсе прекращено.

По прошествии двенадцати лет Кн. Мачабели снова желает посвятить себя публицистической деятельности. С тех пор обстоятельства в значительной степени изменились: в Тифлисе выходят в свет четыре грузинских и современных издания: две ежедневныя газеты — «Иверия» и «Цнобис пурцели», одна еженедельная — «Квали» и ежемесячный журнал — «Моамбе». Газета «Иверия» имеет между ними первенствующее значение



и борьба с ея направлением путем печати, на грузинском языке, весьма желательна в интересах распространения среди грузинской читающей публики суждений, согласных с видами Правительства.

Располагая только вышеизложенными сведениями о личности Кн. И. Мачабели, не имея, следовательно, возможности судить насколько в настоящее время его взгляды на местные вопросы изменились, я не решаюсь высказаться ни за, ни против его ходатайства. Об остальных соискателях на право издания грузинской газеты в Тифлисе я имею честь представить Вашему Превосходительству мои заключения в донесениях от 29 июня № 1691, 17 декабря № 2706, и 12 ноября истекшаго года за № 2973.

Председатель Комитета М. Геккель [?]

**В Главное Управление по делам печати.
Пр. справку Князя Ивана Георгиевича Мачабели**

24.III. 97.

Прошение

В дополнение к прошению моему, поданному в начале января сего года и препровожденному в Главное Управление Кавказским Цензурным Комитетом от 18 января за № 192, считаю необходимым заявить о следующем.

Приступая в 1883 году к редактированию газеты «Дрозба», я поставил себе целью способствовать по мере сил своему общению жизни местного населения, полной кровавых войн в течение долгих веков, с культурой и гражданственностью нашего могущественного Государства. Преследуя столь трудную задачу, само собою разумеется, что я мог не раз впасть в ошибки, неизбежные в подобного рода делах. Ошибки эти могли быть истолкованы руководимой тогда в крае властью в смысле неблагоприятности для газеты, что и послужило, вероятно, к окончательному прекращению издания. Не желая сохранением названия подвергнуть новую газету подозрению, что она будет впасть в те же ошибки, которые вынудили высшую власть прекратить издание и чтобы изгладить из памяти читателей воспоминание о газете, прекращенной по тем или другим основаниям, имею честь сим заявить, что газету, право

на издание которой я испрашиваю, предполагаю
«Дрозба» (Время), а «Сими» (Струна).

назвать не

თარგმანი
საბჭოთაო

Кн. Ив. Мачабели

Г. Тифлис 18 марта 1897 г.

**По докладному списку, утвержденному г. Министром
4 дек. 97 г. (№ 191)**

Князь Иван Мачабели ходатайствует о разрешении ему издавать в Тифлисе, с позволения предварительной цензуры, под его редакторством ежедневную газету на грузинском языке под названием «Дрозба» (Время) по следующей программе:

1) Правительственные распоряжения; 2) телеграммы; 3) передовые статьи по вопросам внутренней и иностранной жизни; 4) местная хроника; 5) корреспонденции; 6) хроника русской жизни; 7) иностранная хроника; 8) судебная хроника; 9) критика и библиография; 10) научные статьи; 11) театр и музыка; 12) мелкия известия; 13) справочные сведения и 14) объявления.

На сделанное по сему ходатайству сношение Главного начальствующий гражданской частью на Кавказе уведомил, что он признавал бы ходатайства Князя Мачабели, не подлежащие удовлетворению.

В виду отзыва Генерал-адъютанта Князя Гольцина, Гл. Упр. по д. п. полагало бы ходатайство Князя Мачабели отклонить.



Эскизы

1. БАЙРОН ДЖАНИС

На своем веку в живом исполнении я слушал многих блистательных пианистов. Рихтер, Гилельс, Клиберн, Нейгауз, Ани Фишер, Артур Рубинштейн, Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Огдон, Керер... Вот неполный список великих пианистов. Но ничто не сравнится с тем музыкальным наслаждением, удовольствием, которым на протяжении двух вечеров одарил меня американский пианист Байрон Джанис. Это мое самое сильное музыкальное впечатление...

С тех пор прошло уже тридцать лет. Джанис давал концерты в Летнем театре филармонии. В ту пору он не был широко известен в Тбилиси, но зал все же был переполнен до отказа.

Первый концерт Джаниса был сольным. Вначале была исполнена соната Гайдна. Скорее всего это была проба сил, но в то же время потрясающе чувствовалась высокая техника, вкус, интеллект. Первый же опус расположил зал к пианисту. Стихия Джаниса — виртуозная музыка, и он достиг изумительной высоты во время исполнения 6-ой венгерской рапсодии Листа. Техника Джаниса была столь виртуозна, что он полностью подчинял себе инструмент.

Вершиной исполнительского мастерства Джаниса стал «Сонет Петрарки № 123» Листа. Это была удивительная лирическая исповедь, излитая в мелодиях, лавина лирических чувств, уносящая в мир грез. Эта божественная музыка погружала в некое приятное оцепенение, сладкая дрожь счастья захлестывала все мое существо. Я почувствовал, что плачу. И стыдясь своих слез, украдкой огляделся по сторонам. Другие слушатели были в подобном состоянии. Я перестал стыдиться своих слез.

Джанис закончил игру. Разразилась буря оваций. Джанис бисировал охотно: играл Шумана, опять Листа, каденции фортепианного концерта Гершвина. Слушатели неистово требова-

ли исполнения все новых и новых произведений. В зале выключили свет. Публика не покидала зал. Несмолкаемые аплодисменты, возгласы «бис»... Вошедшие в экстаз слушатели едва не поломали кресла. Во тьме кто-то зажег спичку. И вдруг зажглись сотни спичек и зажигалок. Джанис опять на сцене и на погруженной во мрак эстраде заиграл волшебную музыку. Исполнение было воистину гениальным, потрясшим меня на всю жизнь.

Через два дня Джанис вместе с симфоническим оркестром блестяще исполнил концерт Шумана и Третий концерт Рахманинова, но кульминацией концерта опять-таки стали сольные номера, исполненные на бис.

...С тех пор прошло тридцать лет, но пламя, зажженное Джанисом в моей душе, не угасает.

2. АРАМ ХАЧАТУРЯН

8 ноября 1972 года. Я в Москве. В Большом театре идет балет А. Хачатуряна «Спартак» с участием М. Лавровского и Н. Бессмертной. Я отправился к театру в надежде достать билет. Мне повезло. Я купил его у входа в театр и сел на свое место — в третьем ряду партера.

Каково было мое удивление, когда рядом с собой я увидел самого Арама Хачатуряна. Удивлен был и Арам Ильич: видимо, он ждал кого-то другого.

Мы познакомились. Он обрадовался тому, что я из Тбилиси. Я знал, что Арам Ильич родом из Коджори¹, и не преминул сказать, что в свое время мой прадед переселился в Тбилиси именно из Коджори.

«Несколько лет тому назад я поднялся в Коджори, — рассказывал Арам Ильич, — но поселка моего детства я не узнал, так он изменился. Я не мог найти дома, в котором родился и вырос, видимо, его снесли. Мне было уже 20 лет, когда я впервые приехал в Тбилиси, впервые увидел рояль и посетил Оперный театр. В тот вечер давали «Абесалома и Этери» Захария Палиашвили. Это было мое первое и самое большое потрясение в жизни. Эта опера определила всю мою дальнейшую судьбу. Тогда-то и зародилась во мне мечта стать композитором».

¹ Коджори — село и дачное место возле Тбилиси.

Арам Ильич, кажется, принял меня за музыканта и расспрашивал о грузинских композиторах, артистах. Поинтересовался, над чем работает великий Чабукиани.

Начался спектакль. Арам Ильич с величайшим вниманием слушал и смотрел свое творение. В это время он походил на богочеловека, который наслаждался своим шедевром. Во время исполнения знаменитого адажио Спартака и Фригии я не выдержал и шепотом сказал: «Арам Ильич, это вершина вашего симфонизма». «Да, да», — поспешно произнес он и, приложив палец к губам, дал мне знак помолчать.

Во время антракта зрители узнали Арама Хачатуряна, и поклонницы устремились к нему за автографами. Я тоже попросил автограф. На моей программке Арам Ильич написал начальные такты «Спартака» и оставил свой автограф.

Спектакль, предназначавшийся участникам Всемирного форума молодежи, прошел с большим подъемом. Арам Ильич пояснил, что когда устраиваются такие гала-спектакли, в них всегда принимают участие Лавровский и Бессмертнова.

По завершении спектакля зрители устроили А. Хачатуряну бурную овацию.

Закончился спектакль. Направляемся к гардеробу. Арам доволен вечером, но его глаза все-таки выражают грусть.

«Мне уже 70 лет, — тихо, задумчиво, как бы про себя проговорил он, — а что останется после меня? Два балета, скрипичный концерт, несколько ораторий... и, пожалуй, все. Не слишком ли мало для долгой жизни?»

— А музыка к драме Лермонтова «Маскарад»? — напомнил я.

— Да, и «Маскарад».

Расстался я с Арамом Хачатуряном исполненный огромной радости от общения с ним.

Трудно сказать, что меня больше восхитило — его музыка, сам балет и его исполнители или это случайное соседство с великим композитором.

3. «ДАИСИ»

Сколько замечательных вечеров связано с этой чудесной грузинской оперой! Божественная музыка «Даиси» сопровождает грузина от рождения до самой смерти. Более того, мелодии «Даиси» — его последний реквием; у нас, в Гру-

знии, на панихидах исполняются определенные фрагменты оперы.

Более ста раз слушал я «Даиси» в «живом» исполнении, как правило, слушаю каждую ее передачу по радио.

Но спектакль «Даиси» 20 октября 1985 года в постановке Тбилисского оперного театра, где все ведущие партии исполняли армянские певцы, был все же исключительным. Армянский язык, темперамент армянских артистов удачно слились с гениальной музыкой Палиашвили, и зритель стал свидетелем еще одного триумфального представления «Даиси».

Великолепно вели свои партии Эльвира Узунян (Маро) и Гегам Григорян (Малхаз), один из лучших лирико-драматических теноров Советского Союза. Григорян блестяще спел «Таво чемо» и особенно прощальную арию Малхаза («Прощай, любимая»), после исполнения которой в театре произошел беспрецедентный случай: обычно за этой арией следует «Плач Маро», и слушатель, затаив дыхание, следит за ходом оперы. В этом же спектакле последние фразы Григоряна-Малхаза утонули в возгласах «браво» и продолжительной бурной овации.

По моему глубокому убеждению, Малхаз Гегам Григоряна — один из лучших Малхазов, которых я когда-либо слушал. Легенды ходят о Малхазе Ване Сараджишвили. О вокальной стороне героико-романтического, мужественного образа Малхаза Нико Кумсиашвили создают представление старые грамзаписи: он, видимо, был великолепным исполнителем этой партии.

Гегам Григорян наполнил новым дыханием образ Малхаза. И это, видимо не случайно. Блестящий армянский певец проникся духом грузинской музыки, которая так близка и понятна ему, армянину, и как бы растворился в ней.

Для грузин в территориальном, историческом и культурном отношении ближе всех армянский народ. По данным историко-филологических наук, грузины и армяне соседствуют по меньшей мере 6000 лет. На протяжении столь долгого времени грузинская и армянская культуры взаимопроникали, кровь перемешивалась, но каждый народ хранил свой неповторимый облик. Вероятно, религиозное различие и историко-культурная специфика во многом помогли сохранить этим двум древнейшим народам их самобытность.

Да будем всегда походить друг на друга и будем всегда различными. Да будем всегда соревноваться между собой в добрых делах!

34135340
8084110133

4. «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ»

Ф. ФЕЛЛИНИ

Сегодня смотрел «Восемь с половиной» Феллини — чудо-фильм. Наряду с «Андреем Рублевым» А. Тарковского — это мое самое сильное кино впечатление. Этот фильм доставил мне такое же огромное удовольствие, как и искусство Вахтанга Чабукиани, Верико Анджапаридзе, Байрона Джаниса, Святослава Рихтера.

Утомленность не только от искусства, но и от жизни — вечная тема. И выход только во включении вновь в хоровод жизни и искусства. Если только есть такой выход. Если в фильме Федерико Феллини в исполнении Мastroяни действительно кончает с собой, тогда весь финал-хоровод осмысливается как ретроспективный каскад воспоминаний умирающего героя, самые яркие кадры которого — детство и вытекающие отсюда образы-импульсы (чувствуется фрейдизм, но не так явно, как в «Амаркорде»). «Восемь с половиной» возносится до величайших шедевров искусства. Он дает большую пищу для обсуждений и размышлений.

1985 год

5. «ПИКОВАЯ ДАМА»

В Тбилиси невыносимая жара. Уже два месяца как радикулит приковал меня к постели. О научной работе не могу и мечтать. Могу лишь читать стихи Галактиона Табидзе и Анны Каландадзе.

Последние два дня углубился в Пушкина и как бы заново открываю его для себя.

От Пушкина берет начало русский лирический и изысканный, или философский, стих. Вся последующая русская литература в долгу у Пушкина. Без Пушкина, вероятно, не было бы и Лермонтова. «Демон» Лермонтова как по форме, так и по идее восходит к «Демону» Пушкина. Без Пушкина не были бы ни Фет, ни Тютчев, ни Блок, ни Есенин.

Что касается прозы Пушкина, на мой взгляд, она усту-

пает его же поэзии. Разумеется, «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» — вершины его прозы, чего не скажешь о «Пиковой даме».

Меня осенила мысль: что, если читать «Пиковую даму» под музыку оперы Чайковского? Великолепно!

И в этом двойном восприятии литературных и музыкальных образов пальма первенства явно на стороне Чайковского.

Встретились два гения — Пушкин и Чайковский. Если для Пушкина «Пиковая дама» — ординарная повесть, для Чайковского она — высочайшее музыкально-художественное проявление наряду с Шестой симфонией.

Чайковский взял у Пушкина не только фабулу, но сохранил и дух произведения. «Пиковая дама» Чайковского — это пушкинское произведение. И поэтому заблуждаются те, которые считают его созданным под влиянием Достоевского.

Чайковский уловил характер Германа, его экзальтированную, азартную природу, природу игрока. Но если Герман Пушкина азартен только в игорном доме и в сцене встречи со старой графиней (эта сцена конгениально воплотилась в опере Чайковского), Герман Чайковского беспредельно страстен и азартен и в любви к Лизе. В опере доминирует страсть великой любви, ею пронизана вся опера.

Опера начинается любовным признанием Германа и заканчивается любовной исповедью умирающего Германа, обращенной к призраку Лизы. В душе Германа смешиваются азарт игры, радость выигрыша, жертвой которых невольно становится любовь такой чувствительной и трепетной личности, как Лиза. Но в предсмертном видении Германа вновь торжествует любовь.

Таким образом, у Чайковского получилась многоплановая, психологическая драма. В душе Германа бушуют с одной стороны — неумемная любовная страсть, а с другой — азарт игрока. Это создает психологическое раздвоение Германа, драму и трагедию героев.

Лиза Чайковского — монолитная фигура. Для нее любовь абсолютное чувство, во имя которого она жертвует жизнью. У Пушкина Лиза мещанка, у Чайковского — аристократка, поэтичная, возвышенная, трагичная.

Герои Чайковского, в отличие от героев Пушкина, многоплановы, более возвышенны, Чайковский, великий романтик, опираясь на Пушкина, создал гениальную оперу. Гениальность «Пиковой дамы» — в ее музыкальной драматургии и симфонизме.



ДОСТОВЕРНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Современная культура переживает испытание достоверностью (усиленным эмоциональным воздействием жестких реальных фактов). Каждый день обрушивает на нас информацию о нарушениях и извращениях моральных, политических, правовых ценностей. Подобные «жареные» факты (не обобщенные, не типологизированные, без глубокого выяснения их причин) в виде чисто информативной «чернухи» пробились и в художественную культуру. И сейчас трудно отличить, где есть «жестокое игры» ради самих игр, а где настоящая «гибель всерьез» (Б. Пастернак) и подлинная художественная правда. Этому различению поможет, по моему мнению, рассмотрение самого понятия достоверности в искусстве, причин ее возникновения и форм первоначального существования.

Под **достоверностью** подразумевается использование таких форм художественного воздействия, с помощью которых воплощается фактура предметного мира, черты стиля жизни, эстетизируется земное и предельно обыденное, осваиваются жесткие и «болевые» явления и противоречия действительности. При том, конечно, условии, если через жесткие предметы и формы освоения просматривается и переживается концентрированное и сущностное выражение жизненных процессов.

Борис Пастернак утверждал, что «искусство — это упрощение как возвышение, а не как снижение, это реальность, выкристаллизовавшаяся из хаоса, который по своей природе антиреален»¹. Подобная «кристаллизация» художественной реальности из узнаваемых и переживаемых мелочей и деталей, из жизненных моментов, ранее считавшихся запретными,

¹ Цит. по: Гладков А. К. Театр: воспоминания и размышления. М., 1980, с. 411.

неэстетичными, — позволяет получить новую информацию, приобщить художественную реальность к «чувству реальности» воспринимающего.

Тяготение художников к своеобразному «постнеореализму» нашло художественное воплощение в прозе А. Солженицына и В. Шукшина, В. Ерофеева («Москва — Петушки») и А. Сулакаури («Лука»), фильмах А. Тарковского «Андрей Рублев» и К. Муратовой «Короткие встречи», «Познавая белый свет», пьесах А. Вампилова, Л. Петрушевской, Л. Ро-себа, спектаклях А. Васильева «Взрослая дочь молодого человека», Ю. Любимова «Гамлет», песнях В. Высоцкого и А. Галича, эстрадных миниатюрах М. Жванецкого и Г. Хазанова.

Беспощадный реализм и житейская суровость этих произведений поначалу шокировали многих слишком строгих читателей и зрителей. В них была как бы реализация побуждения, высказанного Эммануилом Казакевичем: «Я хочу быть грубым...». Но это не эпатаж, а стремление «спустить» искусство на грешную землю, при котором, как писал Пастернак в «Охранной грамоте», «мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии».

Добиться этих целей помогает достоверная образная форма, сама несущая информацию о земном и реальном. Достоверность, дающая прежде всего пищу для наглядного представления, обладает повышенной степенью пластичности, визуальности, «осязаемости» художественной реальности.

Достоверность — образная доминанта современного искусства, вызванная рядом причин. Среди них первейшая — это документализация, усиливающая внимание художников к фактам, подробностям, земной основе бытия. Документализация, если воспользоваться популярной формулой Макса Вебера, дает художественному сознанию «технику овладения жизнью». Имея опыт документализации, искусство стремится чисто образными средствами вызвать у воспринимающего впечатление правдоподобия художественной реальности.

Кроме документализации, выделению достоверности способствовало интенсивное использование нашим искусством художественно-выразительных средств, заключенных в произведениях Архилоха, Рабле, Достоевского, М. Джавахишвили, Д. Джойса, Зощенко, Платонова, Бабея, в картинах Федотова, Дали, Пиросманишвили, в фильмах Феллини, Формана, в строчках Анны Ахматовой:

Когда б вы знали из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.



На возвращение традиционных и появление новых образных средств повлияли также требования и запросы воспринимающих. Достоверность производила смысловую и формальную компенсацию недостаточности человеческого бытия. Смысловой аспект данного процесса заключался в том, что достоверность, пробивавшаяся к нам самиздатом, на магнитофонной пленке, на закрытых выставках и концертах музыкального андерграунда, была глотком воздуха для утопающих, опиумом для больной души. Достоверная по смыслу информация давала представление о сути происходящего, говорила о художниках, которые решались все называть своими именами, преступали черту официально дозволенного и на ответственную жизнь которых можно было ориентироваться. Владимир Высоцкий хрипел на всю страну: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!». И мы это повторяли как заклятие, как объяснение повседневно происходящих глупостей, а главное, как надежду на их преодоление.

Формальный аспект компенсации с помощью достоверности связан с тем, что современный человек живет в мире заменителей, синтетики, нитратов и т. п. Он в массе своей — горожанин, но горожанин во втором, третьем поколении, еще связанный генетической памятью с сельской жизнью, природой, миром реальных вещей. Отсюда идет ощущение дефицита естественности в общении с людьми, неприятие суррогатов в бытовой сфере. Абстрагированный от пластического, чувственного восприятия мира, человек стремится компенсировать недостаточность натуральности и конкретности — хотя бы в малой степени и иллюзорно — с помощью формально достоверного искусства.

Самой важной причиной обращения искусства к воплощению конкретного окружения человека послужило постепенное смещение художественных интересов общества на самого человека. Как говорит главный герой повести Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа». Потребностью художественной реализации нашей настоящей

жизни — сложной, тяжелой, бедной — объясняется активизация поисков новых и привлечение уже имеющихся средств. Преобладание их в художественной форме приводит к доминированию образной особенности, условно называемой достоверностью.

Разные виды искусства по-разному начинали открывать достоверную сторону жизни. В грузинской литературе одним из первых это сделал Арчил Сулакаури, касаясь той трагической стороны бытия, которая связана с военным детством и позднее нашла зримое воплощение в фильмах «Иваново детство» А. Тарковского, «Подранки» Н. Губенко, «Детский сад» Е. Евтушенко. В повести А. Сулакаури «Лука» война предстает в своей бытовой и обыденной жестокости. Писатель заставляет услышать мертвенную тишину больничных коридоров, почувствовать промозглую сырость зимней толкучки и страх перед холодной постелью. На слабые плечи мальчика Луки, который еще вчера «купался в реке, валялся на солнцепеке, рыбачил», падают одна за другой горести и утраты: пропали без вести отец и мать, умирают близкие, его пытаются выселить из дома проходимец Беришвили, погибает друг Андугапар.

Но беды Луки — это беды всех, и писатель показывает нарушенный уклад жизни, при котором «люди со дворов и балконов спрятались и укрылись в комнатах... Все что-то скрывали. Не делились радостью, скрывали печали. Прятали достаток и так же тщательно скрывали бедность... они друг другу не доверяли». Бесчеловечность войны в ее бытовом обличье еще более усиливается введением образа Мтварисы, обобщающим человеческое страдание.

В театре первопроходцами введения объективной достоверности были Ю. Любимов, А. Эфрос, Р. Стуруа, Т. Чхеидзе, чьи спектакли сознательно акцентировали внимание зрителей на самых заземленных и бытом пронизанных подробностях. Позднее в театре сформировалось целое направление своеобразного неонатурализма — так называемая драматургическая «новая волна» (В. Арро, Н. Галин, В. Дударев, Л. Петрушевская, В. Славкин), которая с беспощадной откровенностью воспроизводила самые неприглядные стороны нашей действительности.

Кинематограф, с присущими ему изобразительными возможностями, приспособлен представлять выпуклость, объемность, вещность реальной картины жизни. Здесь новое достоверное отношение к миру начали внедрять А. Герман, О. Ио-

селиани, А. Тарковский. В фильме Алексея Германа «Проверка на дорогах», пролежавшем на полке пятнадцать лет, представлен один из пятимиллионной массы наших военнопленных. Трагический жизненный материал (судьба власовца, пришедшего в партизанский отряд), ранее бывший в искусстве запретным, получил на экране вполне ощутимую плоть. Режиссер сталкивает нас с жестокой военной действительностью, как бы реабилитирует реальность, снимая с нее флер партизанской романтики и возвращая первоначальную жизненную правду. В работах Германа масштабность жизни всегда сосуществует с вниманием к детали, малости, теплоте, эмоциональности.

Содержательное функционирование достоверности вносит принципиальные изменения в использование основного формообразующего материала в каждом из видов искусств; возникают новые приемы и способы создания формально достоверной художественной реальности.

В кино и театре меняется отношение к живописи, музыке и актерской деятельности, в литературе — к слову. Художники театра и кино А. Борисов, Д. Боровский, Н. Двигубский, Г. Микеладзе, М. Ромадин, М. Швелидзе, создавая пластическую среду фильма и спектакля и испытывая особый интерес «к миру конкретных предметов и явлений»¹, стремятся вызвать впечатление достоверности не самой жизни, а эстетической достоверности ценностно-смысловой реальности. И если Э. Стенберг в 60-е годы искал новые фактуры для своих спектаклей, то в 70-е годы он уже использовал природные свойства естественных материалов — дерева, камня, металла. При сравнении фильмов Сергея Параджанова «Тени забытых предков» и «Ашик-Кериб» в их пластическом решении также заметно движение к большей естественности, к обыгрыванию самоценности подлинных предметов — кувшина, граната, одежды.

Одухотворение вещного мира и достоверная концептуальность «живописных» образов характеризует работы операторов, таких как Л. Ахвледиани, Л. Пааташвили, Г. Рерберг, В. Юсов. В снятых ими фильмах изменилась сама наполненность антуража: в нем стало меньше внешней «красивости», появилась максимальная приближенность к конкретным реалиям, их «осязаемость». Операторы В. Калюта («Полеты во сне и наяву», «Маленькая Вера»), А. Княжинский

¹ Асатиани Г. Л. Корни и крылья. М., 1981, с. 144.

(«Подранки», «Сталкер», «Письма мертвого человека»), А. Филипашвили («Путь домой») выстраивают кинокадры с преднамеренно приземленными, шокирующими деталями.

В этой же манере сняты фильмы Теймураза Баблуани «Перелет воробьев» и «Брат». Режиссер переполняет изобразительный ряд массой ранее табуированных подробностей, прессует и взвинчивает действие неожиданными, но вместе с тем житейски точными фактами, поступками. Эстетическая чистота и ясность работ Баблуани достигается тем, что он бесстрашно показывает, как из духовного и социального мрака пытается прорваться к свету истинных ценностей душа человеческая.

Активно участвуя в режиссерских поисках и разработках, композиторы Э. Артемьев, В. Дашкевич, Г. Канчели, В. Овчинников, О. Тактакишвили формируют своеобразную эмоциональную формулу спектакля и фильма, его звуковую партитуру, добиваются органического взаимодействия музыкальной драматургии с движением сюжета. Разумеется, музыка несколько нарушает сценическую и экранную достоверность. Однако сегодня это менее заметно. Так, если музыкальные вставки картины «Хевсурская баллада» создавали у зрителя паузу в восприятии кинодействия, то в фильме «Пятно» музыка воспринимается вполне органично.

Изменилось сегодня отношение к актеру и его игре в театре и кино. Когда-то В. Шукшина очень долго утверждали на главную роль в фильме «Два Федора» из-за его «неактерской» внешности. По той же причине оказался невостребованным талант В. Высоцкого. Интерес к человеку из массы приводит на экран непрофессиональных актеров, делает ценными не возвеличивающую идеальность или усредненную типажность, а именно «не-похожесть», сугубо индивидуальные черты и свойства, даже отклонения от привычного. Крупными художниками мы называем сейчас таких актеров, как О. Борисов, М. Кикалейшвили, А. Махарадзе, А. Петренко, Н. Русланова, М. Ульянов, И. Чурикова. Их внешность далека от некогда существовавшего эталона актерской красоты, их голосовые данные скромны и одновременно уникальны. В творчестве этих актеров ценится не только владение арсеналом сложных и универсальных средств выразительности, но способность создавать формы современности, в которые мы верим.

Осваивая ближний, ощущаемый мир, вживаясь в окружающее, литература вынуждена была расширять границы до-

зволненного использования слов и выражений. Необычность прозы Джемала Топуридзе объяснялась еще и тем, что он вводил в литературный текст живые, разговорные слова, которыми люди пользуются в повседневной жизни. Естественность и простота исходного строительного материала делали форму его повествования подобной той, в которой реальные люди рассказывают о каком-то происшествии, стремясь убедить слушателей в объективности своей информации, не окрашенной личностным отношением. Искусно имитируя непринужденность рассказа, Топуридзе как бы отстраняется от события, скрывает свое присутствие, исключает субъективные оценки, подробные описания, ограничивается краткими авторскими ремарками.

Писатель стремится скорее не рассказать, а представить увиденное и услышанное на суд читателя-зрителя, как бы перевоплощаясь в драматурга (или сценариста) и режиссера. Большое место в рассказах и повести Топуридзе «Диоскурия — город, затопленный морем» занимает чистый диалог, без ремарок и пояснительных слов. В описаниях он воссоздает зримую картину события, настолько пластичную, что мы видим, как Датуна — герой рассказа «Мужчина» — «снял ружье, снова лег в постель; с трудом, еле-еле отодвинув затвор, пальцем нащупал пулю, затем положил указательный палец на курок, направил ружье на дверь и замер». Простыми словами, чаще всего глаголами, автор динамизирует действие, монтируя одновременно в одном абзаце несколько событий: «Дверь снова затряслась, и в комнату вломился огромный мужчина. Женщина закричала, верзила кинулся к ней. Датуна зажмурился и нажал курок».

Бережно подбирая нужные слова, концентрируя внимание на главном, насыщая текст смысловой информацией, Топуридзе превращает незамысловатые житейские истории в высокое искусство, удовлетворявшее потребность самого широкого читателя, в непосредственном и свободном разговоре с художником на понятном читателю языке. Продолжением этого разговора, начатого безвременно ушедшим писателем, представляются отличающиеся беспощадным веризмом рассказы «Факелы, Квазимодо!» Мераба Абашидзе, «Сорок дней и сорок ночей» Георгия Баканидзе, «Последний дубль» Сосо Пайчадзе.

Процесс своеобразной реабилитации коснулся даже поэтического слова и нашел отражение в творчестве Д. Беднидзе, М. Лебанидзе, Ю. Шевчука, В. Чхиквадзе. В сборни-

ках «Избранная лирика», «Однотомник», «Сванская тетрадь», «Помню» Мурман Лебанидзе предстает достойным наследником Важа Пшавела, позднего Тициана Табидзе, Ладоса Асатиани. Разнообразен диапазон его поэзии; он может негромкими словами написать патетические строки о родной земле:

Родина моя, моя награда!
Плод в саду, на поле сноп густой.
Я целую гроздья винограда,
На коленях стоя пред тобой...

Стихи Лебанидзе могут говорить о каждодневной жизни, о подробностях быта, им свойственны разговорные интонации, добродушный юмор:

...Я в него кидаю комья.
— Это черт-те что!
Так смеется надо мною
Великан Ладос.

Свойственная М. Лебанидзе особенность художественного сознания присуща и другим грузинским поэтам. Об этом писал известный знаток и переводчик грузинской поэзии Павел Антокольский: «Грузинская поэзия самая пластичная, можно сказать, плотская, земная из всех наших национальных поэзий. В стихах грузинского поэта не может пролететь просто «птица», это обязательно щегол, ласточка, дрозд, куропатка, ястреб, фазан... Во всем этом, конечно, сказывается органическая связь с почвой родной земли, исконно земледельческое, добротное начало народа»¹.

Внутривидовые поиски способов создания формально достоверной реальности сопровождались приобретением таких общих для разных искусств образных приемов, как замедление художественного времени и укрупнение изображения, сформировавшихся не без влияния телевидения, живописи и гиперреалистической графики.

Неспешная манера повествования дает литературе возможность внимательно всмотреться в бытие и понять мышление грузинского крестьянина («Шакро» У. Рижинашвили), проникнуться тревогами и волнениями социально прижатого человека («Раковый корпус» А. Солженицына), проана-

¹ Антокольский П. Г. Побратимы. Тбилиси, 1963, с. 296

лизировать взаимоотношения человека с природой («Отец-Лес» А. Кима). Та же тенденция в театре вела к предпочтению «драмы идей», происходящей в художественно-конкретных обстоятельствах, с ироническим обыгрыванием словесных клише (Т. Чиладзе «Роль для начинающей актрисы»). Медленным развертыванием мизансцен, неторопливым произнесением фраз Михаил Туманишвили («Свиньи Бакулы») формировал атмосферу раздумья о судьбах человека и смысле жизни.

Укрупнение изображения реализуется в кино с помощью неподвижной камеры и увеличением количества и длительности крупных планов актера. Статичные эпизоды и крупные планы в фильмах Д. Асановой «Милый, дорогой, любимый, единственный», О. Иоселиани «Пастораль», Г. Лордкипанидзе и Г. Габескирия «Берега» наполнены внутренним действием и направлением. Они обнаруживают за неправильностью черт лица скрытую красоту человеческой личности. Десять минут занимает исповедь летчика в картине А. Германа «Двадцать дней без войны». Все это время мы вглядываемся в искаженное внутренней болью лицо актера Алексея Петренко, слушаем его сбивчивую речь и проникаемся глубиной душевного потрясения человека, испытавшего бытовую вариант великой народной трагедии.

Герои спектакля Анатолия Васильева «Серсо» получают право выхода на авансцену и своеобразной рентгеноскопией собственной души. Они-то и создают ситуацию исследовательской сосредоточенности, углубляют и усиливают художественное зрение, подчеркивают духовно-аналитическое начало пьесы В. Славкина. Роман Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом» построен в форме трех развернутых монологов, укрупненно и детально воссоздающих неповторимые встречи Человека и Истории.

Созданию эффекта кинодостоверности способствует и другая, как бы противоположная тенденция: стремление замаскировать камеру, сделав ее подвижной и скрытой, снимать основную часть фильма на средних и общих планах («Торпедоносцы» С. Арановича, «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа, «В городе Сочи темные ночи» В. Пичула). Эта особенность свойственна и фильму «Новый год» Давида Шенгелидзе и Кахи Мелитаури — выпускников Тбилисского театрального института, учеников мастерской Отара Иоселиани.

Имитируя городскую хронику и «жизнь врасплох», они сделали ленту с преднамеренными световыми передержками, с композиционной невыверенностью кадра. Режиссеры не вы-

деляют своих героев из окружающей среды, а посему снимают непрофессионалов (в том числе и писателя Гурама Дочанашвили), создают галерею лиц — просто горожан, жителей Тбилиси. И сам город представлен не историческими и культурными достопримечательностями, а обжитыми квартирами, неприметными домами, перекрестками, улицами. Честный и правдивый взгляд авторов заметил и гармонично запечатлел рядового человека на фоне его повседневного существования.

В заключение следует сказать, что достоверные средства, приемы и способы максимально конкретизируют изображение противоречивой действительности, погружают в мельчайшие подробности жизни, предлагают воспринимающему эмоциональные подсказки, воскрешают его представления о фактурности реального мира. Стремление к естественности ценностно-смысловой реальности мобилизует художественные средства, усложняет образную структуру произведений разных видов искусства, вызывая новые способы освоения и сопереживания нашего сложного мира.

По решению ЮНЕСКО 1991 год — год Елены Петровны Блаватской — известной русской писательницы, исследовательницы Востока, основательницы теософии и Теософского общества. В этом году мир отмечает 160-летие со дня ее рождения и 100-летие со дня смерти.

Роксана АХВЕРДЯН

БЛАВАТСКАЯ И ГРУЗИЯ

Имя Блаватской, ее жизнь и творчество долгое время замалчивались, хотя интерес к этой незаурядной личности проявлялся еще в те времена, когда книги ее были совершенно недоступны читателю, а в «Краткой литературной энциклопедии» и в других изданиях она упоминалась лишь мельком.

Е. П. Блаватская прожила необыкновенно яркую жизнь, полную самых невероятных и необычных приключений, совершила три кругосветных путешествия, сражалась в армии Гарибальди, выступала против колонизации индийцев... Советский индолог А. Н. Сенкевич называет творческое наследие Блаватской мостом, соединившим века девятнадцатый и двадцатый, а ее — «опередившей свое время».

Книги Блаватской «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», «Голос безмолвия» и другие представляют собой впечатляющую фантазмагорию на космические темы с несомненной долей мистицизма. В своих трудах она приходит к отрицанию персонифицированного Бога-творца и промыслителя, как правило, отдающего предпочтение своим последователям перед остальным человечеством. Вместо него она признает Космический Разум с бесконечной иерархией сил, занимаю-

щихя грандиозным строительством Вселенной. Земля и человечество предстают лишь малым звеном гигантских космических свершений.

Произведения Блаватской были написаны задолго до того, как сформировались принятые в современной науке терминология и методология. Книги ее — книги будущего — остались непонятыми многими современниками. Советская наука также не дала объективной оценки ее творчеству. В то же самое время современные западные ученые значительную часть ее многоплановых и неоднозначных работ классифицируют сегодня как область сравнительного религиоведения. Ее труды привлекают внимание тем, что авторская позиция в них характеризуется стремлением к объективности. Блаватская избегает тенденциозности, присущей обычно клерикальному религиоведению. Западные ученые считают, что сравнительное изучение различных культурных систем в ее книгах представляет значительный интерес как одна из первых и далеко не безуспешных попыток поиска синтетического подхода к гуманитарным знаниям.

Представляется также значительной предпринятая Блаватской попытка сравнительного анализа религий через раскрытие тождественности сокровенного смысла религиозных символов. Ею поставлена важная проблема как перед религиоведами, так и перед историками культуры.

В своих трудах Блаватская разработала теорию рас, согласно которой в истории человечества прослеживается семь стадий или семь рас. Наша раса — пятая, предшествующие ей расы погибли в результате всемирных катастроф. Свидетельства об этих расах Блаватская усматривала в мифологических, в том числе — библейских аллегориях. Смена рас — проявление определенного исторического процесса. Мнение Блаватской о том, что история человечества начинается значительно раньше, чем считали ученые в XIX веке, подтверждено археологией XX века.

Главное дело всей жизни Блаватской — создание Теософского общества. Само слово «теософия» вошло в философскую литературу как религиозно-мистическое учение русской писательницы и ее последователей, сложившееся под влиянием религиозно-философской концепции Востока, а также оккультизма и элементов гностицизма. Основы теософии — «тайного знания» — единство всего существующего, идея кармы и перевоплощения. Как указывалось в предисловии к первому выпуску сборника «Вопросы теософии» (СПб, 1908):

«Теософия всегда существовала, как великий синтез, обнимающий религию и науку, и как путь к реальному богопознанию; она составляет сокровенную часть всех религиозных движений мира, но ключ к ней утерян, и заслуга Е. П. Блаватской состоит в том, что она передала его западному миру». Западному миру, но не своей родине, где имя ее долгие годы предавалось анафеме, где не было понято, что взаимодействие науки и религии плодотворно.

Цели Теософского общества были определены его уставом: создание ядра международного всеобщего братства без различия национальностей, вероисповедания, цвета кожи, пола и т. д.; изучение древних религий, философий и литератур; изучение психических сил, находящихся в природе и человеке в скрытом состоянии, т. е. общество обращало внимание людей на загадочные и важные события, происходящие порой в жизни каждого человека, которым наука пока еще не в силах дать объяснение. Одной из задач Теософского общества была благотворительная деятельность.

Теософское общество, претерпев множество гонений, имело и имеет большое число последователей во всех странах мира. Из этого течения возникло Антропософское общество Рудольфа Штейнера, внесшее свой вклад в развитие современной мировой культуры. И сегодня члены Теософского общества на Западе издают труды и письма Блаватской, воспоминания о ней.

Особенно чтут ее в Индии, где учрежден в ее честь специальный праздник «День белого лотоса». Индийские ученые считают, что Теософское общество оказало значительное влияние на культуру Индии, т. к. Блаватская, глубоко изучив древнеиндийские тексты, извлекла из них целый ряд интересных идей. Ее теоретическая позиция и деятельность способствовали пробуждению самосознания индийского народа и стимулировали возрождение его интереса к своей культуре и истории. Глубоко чтут Блаватскую в Индии и за то, что она, обращаясь к англичанам и европейцам вообще, одной из первых призывала увидеть в индийцах равных себе людей, а не дикарей-язычников, нуждающихся в «окультуривании» и христианизации как основе этого окультуривания.

Теософия Блаватской, как одно из ответвлений буржуазного идеалистического свободомыслия, отразила реальные контакты обществ с различными культурами. Она субъективно отвечала объективно возникшей к концу XIX и началу XX века тенденции к терпимости в отношении иных религий, тра-

диций, обычаев, т. к. появились объективные предпосылки к формированию будущей общечеловеческой культуры, в том числе и общечеловеческих моральных ценностей, элементы которых развивались и складывались в культурах и религиях всех народов.

И хотя некоторые советские критики Блаватской говорят об утопичности, несвоевременности этих идей, они именно в настоящее время представляются перспективными. Идея всеединения, создания общечеловеческих моральных ценностей — это требование нового века. В самые смутные годы мировой истории культурная политика предполагала единение всех цивилизаций. И сегодня народы мира с мужеством и с надеждой делают к нему шаги. В этом единственное спасение человечества. Именно к всеединению призывала Е. П. Блаватская, именно этот призыв записан в первом пункте устава созданного ею Теософского общества.

Многим ли известно, что необычайная жизнь Блаватской нерасторжимыми узами связана с Грузией? Отсюда начался ее полный необыкновенных приключений путь в неизведанный мир, путь к всемирной славе и вечным гонениям...

Огромное значение в формировании личности Блаватской имели ее родные, тесно связанные с Грузией, ее семья, почти каждый представитель которой являлся значительной личностью, упоминаемой в Энциклопедическом словаре.

Обстановка, сложившаяся в Грузии к середине XIX века, создала ту благоприятную почву, которая способствовала развитию и расцвету высококультурной среды, во многом определившей европеизацию местной культуры.

На наш взгляд, основные положения учения Блаватской о создании единой синтетической религии, призванной спасти человечество от тотальной гибели, сложились не без влияния того, что годы детства и становления личности ее прошли в Тбилиси, где мирно и дружно сосуществовали люди различных национальностей. Мимо ее внимания не могло пройти то, что здесь на небольшом расстоянии друг от друга мирно соседствуют христианский грузинский храм Сиони, православная русская церковь, григорианский армянский храм, мусульманская мечеть и еврейская синагога. Благодатная природа Грузии, сам ритм, стиль жизни города способствовали развитию в ней тех устремлений, которые в будущем выразились в идее всеединения.

Е. П. Блаватская родилась в семье, имевшей давние куль-



турные традиции, почти все в этой семье занимались литературой.

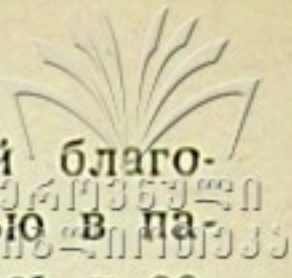
Дед ее — Андрей Михайлович Фадеев — был из славного, но обедневшего дворянского рода. Женитьба его на княжне Долгорукой вызвала толки о неравном браке, но союз этот оказался долгим и прочным. А. М. Фадеев был человеком доброго характера, хорошо образованным, умным, славился своей неподкупной честностью. После женитьбы он быстро сделал чиновничью карьеру. Вслед за назначением в 1846 году М. С. Воронцова наместником Кавказа, А. М. Фадеев был переведен на Кавказ и назначен членом Совета Главного управления наместника Кавказского и управляющим экспедицией государственных имуществ Закавказского края. Он оставался на этих постах в Тбилиси до конца жизни, т. е. до 1867 года.

Являясь членом Российского географического общества, Андрей Михайлович занимался литературным трудом. После себя он оставил два тома воспоминаний, изданных в Одессе в 1897 году, в которых в частности рассказывается, что по прибытии в Тбилиси его семья поселилась в большом доме недалеко от Головинского проспекта, купленном у вдовы грузинского поэта-романтика и общественного деятеля А. Г. Чавчавадзе после его трагической гибели, последовавшей 6 ноября 1846 года.

Именно в этом доме проходило детство и отрочество Елены Блаватской, в котором, по ее словам, витали призраки прошлого и даже водились привидения. А ведь с этим домом была связана блестящая страница русско-грузинских культурных взаимосвязей. Этот дом был средоточием всей культурной и свободолюбивой мысли в Тбилиси. Здесь бывали А. Грибоедов и М. Лермонтов, А. Одоевский и другие декабристы, великий грузинский поэт Николоз Бараташвили. Поэты посвящали стихи прекрасным сестрам Чавчавадзе — Нине и Екатерине... Как свидетельствуют современники, и дом Фадеевых был в то время одним из самых больших и гостеприимных в Тбилиси.

Бабушка Блаватской — Елена Павловна, урожденная княжна Долгорукая, дочь екатерининского генерала, род которого восходил к Рюриковичам, родственница известного в свое время поэта И. М. Долгорукого, была душой этого дома. По воспоминаниям современников, она являлась истинной главой дома, дед всю жизнь находился под ее нравственным обаянием.

Елена Павловна, женщина незаурядная, разносторонне



одаренная, прекрасно образованная, славилась своей благотворительностью, за которую была награждена медалью в память о 1812 году. С самых молодых лет она стремилась к серьезным знаниям и неустанно училась. Это жадное стремление к знаниям было присуще и ее дочери — Елене Ган, и ее внучке — Елене Блаватской. Бабушка свободно говорила на пяти языках, знала историю, естественные науки, археологию, нумизматику, ботанику; состояла в ученой переписке с известнейшими в Европе натуралистами. Она многое сделала для изучения флоры Кавказа, оставив после себя более 70 томов рисунков определенных ею растений, древностей, монет.

Елена Павловна долгое время переписывалась с немецким естествоиспытателем Александром Гумбольдтом. С большой долей вероятности можно предполагать, что Елена Блаватская была знакома с работами ученого. В доме Фадеевых имелась огромная библиотека, в которой преобладали книги по естествознанию, географии на европейских языках. В книгах Гумбольдта и других естествоиспытателей она могла почерпнуть сведения не только об известных, но и малоизвестных странах, об их природном мире, что и заронило, вероятно, в ее детскую душу любовь к путешествиям. Энциклопедичность знаний Блаватской, несомненно, шла от бабушки, довольно известной в свое время в ученом мире. Елена Павловна замечательно рисовала, она была настоящей художницей, этот дар она передала внучке — Елене Блаватской. Особо следует отметить любовь и способность бабушки к музыке, она знала музыку настолько, что сама преподавала ее своим детям и внукам. Прекрасной музыкантшей и певицей была ее дочь Елена, а внучка — Елена Блаватская даже концертировала в Париже и Лондоне, была хормейстером и капельмейстером.

Кроме того, бабушка была прекрасной рукодельницей, она отлично знала переплетное дело, плетение кружев, с большим мастерством делала искусственные цветы, умела набивать чучела птиц и зверей... Ко всему этому была превосходной хозяйкой, экономом и поваром. «Она была каким-то многосторонним колоссом знаний и практической благотворительности»; — вспоминает внучка. Эта женщина отличалась необыкновенной духовной мощью и неустанной деятельностью. Эта духовная мощь передалась ее дочери, которая, прожив всего 27 лет, стала известной русской романисткой, и внучке, создавшей такие книги, которые нам еще предстоит понять.

Елена Павловна умерла раньше своего мужа — в 1860

году в Тбилиси, ее похоронили во дворе городской церкви Вознесения, безжалостно снесенной в советское время. На могиле золотыми буквами на прямоугольном кресте было выведено: «Паче всего стяжала любовь, яко любовь есть союз совершенства».

Старшая дочь Фадеевых — Елена Андреевна (1814—1842), мать Блаватской — с детства тянулась к знаниям. Она знала более пяти языков, много читала как русскую, так и западноевропейскую литературу в подлинниках. В 1830 году она обвенчалась в Екатеринославе с артиллерийским капитаном П. А. Ганом и после этого стала кочевать вместе с его батареей по России и Украине. Родословная отца Блаватской — Петра Алексеевича Гана — шла от германских рыцарей. Он получил образование в Пажеском корпусе. От природы умный, веселый, с несомненным даром к едкой шутке он был, в отличие от жены, человеком практичным, не знающим романтических взлетов. Проживая со своей батареей в захолустье среди товарищей-офицеров, коней, пушек, провинциальных помещиков, он ко времени своей женитьбы давно утратил потребность в поэзии, искусстве, литературе, ему было чуждо все то, что интересовало его жену, которая с детства жила в мире творческих фантазий и поэтических грез. Разница во вкусах и характерах быстро привела Е. Ган к полному разочарованию в замужестве и любви.

Но у этой хрупкой, возвышенной, очаровательной, романтической женщины была необыкновенная сила воли. Несмотря на тяготы походной жизни, заботы о детях и отнюдь не идиллические отношения с мужем, она находит силы для привычных интеллектуальных занятий, любовь к которым ей привили в доме матери: она музицирует, изучает иностранные языки, пробует переводить и сочинять. Выше всего Е. Ган ставила родственные связи. Особенно сильно и преданно она любила свою мать. Огромным счастьем для нее было возвращение на время к родным, где она отдыхала душой.

Первый ребенок — Александр — умер рано. Второй родилась дочь Лоло, Лолоша, будущая Елена Блаватская — предмет горячих забот молодой матери. Затем появились на свет дочь Вера и сын Леонид. На плечи молодой женщины легли заботы о семье, о страстно любимых детях, в них она видела смысл своей жизни. Даже на свой литературный дар она смотрела лишь как на единственное средство дать детям хорошее образование и воспитание. Она писала сестре: «Ка-

кими бы то ни было жертвами хочу, чтобы дети мои были хорошо, фундаментально образованны. А средств, кроме пера моего, у меня нет!» И она много работала, хотя это вредило ее здоровью.

Весной 1836 года мужа Е. Ган на время перевели в Петербург. Здесь она встречается со своей именитой родней; с Пушкиным, с Лермонтовым, с которым была знакома через влюбленную в поэта свою кузину Е. К. Сушкову, посещает художественные выставки, оперу. Она считала, что «музыка лучшее утешение в этой жизни после религии», сама она была очень религиозной и хотела внушить своим детям «чудесную веру — светлую, яркую, понятную».

Литературное творчество Елены Ган, писавшей под псевдонимом «Зенеида Р-ва», высоко оценивали И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, назвавший ее «русская Жорж-Санд», и другие критики. По словам Белинского, центральным мотивом произведений писательницы была «апология женщины и протест против мужчины», мысль о «состоянии унижения, в котором находится женщина». Критика в ее творчестве привлекала «присутствие живых общественных интересов, идеальный взгляд на достоинство жизни, человека и женщины в особенности». Он не однажды называл ее «автором многих превосходных повестей», «необыкновенно даровитой писательницей», определяя ее творчество, как одну из первых в русской литературе попыток борьбы за женское равноправие. Многие ее произведения переводились на различные языки.

Слава ее росла, она привлекала к себе внимание известных деятелей своего времени, с ней дружили О. Сенковский, Н. Кукольник, Н. Надеждин, Н. Полевой и др. Поэты посвящали ей свои стихи. Известно большое стихотворное послание В. Г. Бенедиктова с лестными в адрес ее творчества словами.

Постоянные разъезды, болезни детей, материальные трудности, которые писательница пыталась преодолеть интенсивным литературным трудом, а также смерть первенца — подточили здоровье Е. Ган. Для укрепления его она переехала с детьми в Одессу. Но здесь губительная система лечения кровопусканиями лишь ускорила ее смерть. Она умирала, глубоко страдая, на руках своих родителей. Е. Ган пришлось испытать полную горечи чашу, как человеку, женщине, стоявшей хоть сколько-нибудь выше толпы. Неординарная натура, мощная сила духа Е. А. Ган, «ее благородное сердце, безвременно разорванное силою собственных ощущений» (Бе-

линский), оказали, несомненно, огромное воздействие на дочь, будущую основательницу Теософского общества.

Елена Петровна Блаватская родилась 12 августа 1831 года в Екатеринославе. В детстве Лоло, Лолоша была непростым ребенком. Как бы предчувствуя нелегкую судьбу своей старшей дочери, мать перед смертью говорила: «Может оно к лучшему, что я умираю: по крайней мере, не придется мучиться, видя горькую участь Елены! Я совершенно уверена, что доля ее будет не женской и в жизни ей суждено много страдать». И это предвидение сбылось.

Кочевая жизнь родителей отразилась на раннем воспитании ребенка. В своих воспоминаниях Елена Блаватская писала: «До 9 лет, пока я жила в полку у отца, единственными моими няньками были солдаты артиллерии да калмычки, буддисты». В раннем детстве она жила часто в Саратовской губернии, в имении отца.

После смерти матери бабушка и дедушка взяли ее вместе с другими детьми к себе в Тбилиси. Воспитанием их занималась также и тетка — Екатерина Алексеевна Фадеева, в замужестве Витте, младшая сестра Елены Ган, с которой она была очень дружна. Если старшая Елена была страстной, восторженной натурой, способной поклоняться прекрасному, то младшая, Екатерина, отличалась ровным, спокойным характером, рассудительностью. Впоследствии она стала блестящей светской дамой с огромными связями и знакомствами.

Сын Екатерины, двоюродный брат Е. Блаватской — Сергей Витте — родился в Тбилиси 11 июня 1849 года. Он также воспитывался в доме бабушки. Не получив от отца никакого наследства, С. Ю. Витте прошел большую школу капиталистического предпринимательства. Начал он как железнодорожный делец, затем продолжил свою деятельность как чиновник-министр, связанный с банковским миром, в дальнейшем стал крупной личностью, виднейшим государственным деятелем России конца XIX — начала XX века. Его отличали большой самостоятельный ум, известная независимость суждений, оригинальность мысли и прогрессивность всех начинаний. Благодаря своей деятельности он добился стремительного развития экономики России, обещавшей процветания страны. Но революционные движения смели все результаты его огромной работы.

В конце жизни С. Ю. Витте написал «Воспоминания» — большое историческое полотно, в котором уделил место и своей

двоюродной сестре. Он воздаст должное ее необычайным выдающимся способностям (музыкальным, филологическим), ее замечательным человеческим качествам, среди которых, пожалуй, самые основные — незлобивость и доброта. Не обошел он вниманием и удивительные свойства психики Блаватской, то, что в наше время принято называть экстрасенсорными способностями. Другое дело, что будучи человеком сугубо государственным, прагматичным, С. Ю. Витте был не в состоянии понять и оценить небывалый триумф теософских идей Блаватской, составивших ее эзотерическое учение. Впрочем, как человек широко образованный и обладающий хорошим литературным вкусом, он не мог отказать ей в «своеобразном и великом таланте» литератора.

В семье Фадеевых жила и третья дочь — самая младшая из детей — Надежда, по возрасту ближе всех бывшая к Е. П. Блаватской. Племянницу с теткой связывала глубокая многолетняя дружба. Ей, Надежде Фадеевой, писала письма Блаватская из-за рубежа. В них она списывала свои путешествия, мысли и переживания. Надежда Андреевна была также близким другом и единомышленником своего брата Ростислава. Оба они — и брат, и сестра — не создали своей семьи, во всем поддерживая и помогая друг другу. Надежда посвятила брату книгу воспоминаний.

Елена Блаватская с огромной любовью и уважением относилась к своему дяде — Ростиславу Андреевичу Фадееву (1824—1883), генералу, видному военному писателю, автору большого количества актуальнейших в свое время книг, среди которых и созданный в 1874 году труд «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)». Этот труд сыграл определенную роль в творческой истории романа Ф. М. Достоевского «Подросток». Он был видной фигурой как в общественной жизни, так и в военной литературе второй половины XIX века.

Жизнь и творчество Р. А. Фадеева были тесно связаны с Грузией. В юности за дружбу с польским изгнанником М. Потоцким, которого Р. Фадеев пытался выволить из ссылки, Николай I отправил его в Екатеринослав. Обнаруженные нами архивные материалы, бывшие когда-то под грифом «секретно», свидетельствуют, что император долго не поддавался на просьбы М. С. Воронцова разрешить «отставному артиллерии прапорщику Р. Фадееву» отбывать ссылку в Тбилиси, где служил его отец. Разрешение было дано лишь через три го-

да — в 1849 году, но с учреждением за ним строгого полицейского надзора. Этот полицейский надзор был снят с Р. Фадеева лишь после смерти Николая I.

В дальнейшем он дослужился до генерала, но высоких постов никогда не занимал. Р. А. Фадеев посвятил себя литературе. Им было создано большое число серьезных, талантливых книг о Кавказской войне. Необходимо отметить, что взгляды Р. Фадеева в вопросе развития «азиатских окраин», т. е. Кавказа, носили для того времени прогрессивный характер. В отличие от реакционных деятелей, стремившихся нивелировать язык и культуру Грузии, Фадеев с большим уважением относился к грузинскому народу, грузинскому языку, который он выучил, живя в Грузии, понимал и подчеркивал значение многовековой культуры этого народа, поддерживал его стремление к сохранению своей самостоятельности, языка. Нами найдены в архиве неизвестные рукописи Р. Фадеева, в одной из которых он писал: «Грузины составляют целый народ, и правительство должно смотреть на них, как на народ, не смешивая их безразлично под общими формами управления с прочими кавказскими населенными, уважать их историческую гордость и предания». В этой и других статьях Р. Фадеев высказывает большое уважение к той стране, в которой он проживал со своей семьей. Он писал: «Тысячелетия выработали в Грузии общественное устройство, преимущественно аристократическое, дух и разум этого небольшого народа заключается в его многочисленном дворянстве».

Жизнь и деятельность Р. А. Фадеева сложна и многообразна и требует отдельного рассмотрения. Особенно интересны его творческие взаимосвязи с Ф. М. Достоевским. Но здесь мы скажем лишь о том, что объединяет его с Е. П. Блаватской.

В 1872 году Блаватская приехала в последний раз в Россию, в Одессу, из Египта, где она провела несколько лет. Не без ее влияния, несомненно, в 1875 году в Египет уехал Ростислав Фадеев, получив приглашение как советник по преобразованию египетской армии.

Весьма знаменательным является тот факт, что в 1872 году и дядя, и племянница обратились с письмами-исповедями к шефу жандармов в III отделение. Знакомство с содержанием писем позволяет сделать вывод о наивности и бескорыстии обоих, стремлении служить отечеству, об их жизненной непрактичности.

Грядущие революционные события глубоко волновали и дядю, и племянницу. Фадеев, желая выполнить свой гражданский долг, пишет императору «Записку», в которой в качестве меры по предотвращению революционного движения предлагает ввести в стране новый, более мягкий устав о печати. Блаватская в своих письмах домой из Индии в это же время прокликает «подлых извергов-социалистов», убивших Александра II, с гневом осуждает террористов, предсказывает «светопреставление» в результате подобных актов.

С. Ю. Витте, отмечая, что дядя Р. Фадеев оказал на него большое влияние, пишет: «Я не встречал в своей жизни человека более образованного и талантливого, чем Ростислав Фадеев». Но ближе всех к дяде была Елена Блаватская. У них было даже что-то общее. С. Ю. Витте говорит об этом с сожалением: «Р. Фадеев был несколько склонен к мистицизму и спиритизму... Он был настолько образован и талантлив, что должен был сделать громадную карьеру, но у него был недостаток — он легко поддавался увлечениям по фантастичности своей натуры. В этом он напоминал свою племянницу Блаватскую». И далее: «Во всяком случае, Фадеев и Блаватская могут служить доказательством того, что известные качества натуры передаются по наследству из поколения в поколение».

Как вспоминают современники, Блаватская обладала невероятным даром предчувствовать смерть близких на расстоянии. Перед смертью дяди она три раза видела его в своих видениях и, угнетенная предчувствием, писала сестре: «Я еду (из Индии в Европу. — Р. А.) под гнетом страшного горя: либо родной дядя умер, либо я с ума сошла». Умер Р. А. Фадеев в 1883 году в Одессе. Последние годы своей жизни он очень нуждался. Перед смертью все свои деньги — 300 рублей он отдал в пользу голодающих Самарской губернии.

Сестра Елены Блаватской — Вера Петровна, в замужестве Желиховская (1835—1896), была известной в свое время детской писательницей, автором книг из кавказской жизни, драматургом. Ее воспоминания о сестре вошли в изданную в Петербурге в 1893 году замечательную книгу Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана», опубликованную под псевдонимом Радда-Бай.

После смерти первого мужа Яхонтова Вера переехала к родителям в Тбилиси. Здесь она влюбилась в учителя Тифлисской гимназии В. И. Желиховского. Родители были воз-

мущены: учитель-разночинец не мог быть парой их дочери. Вера бежала из дома и вышла замуж за него, но в доме Фадеевых он никогда не бывал. Лишь после их смерти супруги Витте стали принимать у себя Желиховских.

В 1871 году Желиховский был директором Тифлисской классической гимназии, членом распорядительного комитета и Кавказского отдела русского географического общества. Он интересовался историей Грузии, писал статьи. Его перу принадлежит книга «Русский — Грузинам», написанная по случаю смерти известного военного и общественного деятеля Грузии М. Ф. Джамбакур-Орбелиани и посвященная Григолу Орбелиани, выдающемуся поэту и общественному деятелю.

Как выясняется из воспоминаний современников и обнаруженных нами писем Н. Г. Бердзнишвили (Берзенова), В. Желиховский в Тбилиси 70-х годов был одиозной личностью, человеком со вздорным характером, к тому же пьющим. Его жене — Вере Петровне, по-видимому, было нелегко с ним. И это не могло не укреплять еще более отрицательного отношения Блаватской к замужеству. Она была яркой противницей супружеских уз: «Счастье женщины — в обретении власти над потусторонними силами. Любовь — всего лишь кошмарный сон», — писала она в своих записных книжках.

Блаватская с детства отличалась своей неординарностью, необычностью. Поразительны были ее способности к языкам. К 14 годам она безупречно владела английским, немецким, французским языками, в дальнейшем выучила, кроме многих европейских языков, и древнеиндийский, древнеегипетский, древнееврейский и другие. Живя в Грузии, она изучила не только грузинский, армянский и татарский (азербайджанский) языки, но и курдский, о чем свидетельствует тот факт, что на спиритическом сеансе братьев Эдди в Америке никто, кроме Блаватской, не смог перевести то, что говорили на своих родных языках вызванные духи мальчика-грузина и курдского проводника.

С самого раннего детства черты характера Блаватской отличались решительностью и энергичностью. Сила духа не покидала ее в самых трудных и опасных ситуациях ее жизни. Она никогда не признавала навязываемых авторитетов и шла своим путем. Уже в детстве она терпеть не могла все то, что обычно нравится женщинам. В шестнадцать лет ее стали готовить к первому балу. Ей сшили бальное платье, но перед

самым балом Елена ошпарила ногу кипятком, чтобы только не поехать на бал.

Чудачества, строптивость Елены часто были невыносимы для ее воспитателей. Екатерина Андреевна Витте, чтобы смирить строптивую племянницу, хотела отправить ее на год в монастырь. Однако вместо этого по совету и протекции княгини Е. К. Воронцовой, жены наместника Кавказа, той, которая когда-то была музой Пушкина, ее решено было выдать замуж за человека степенного и с положением в обществе. Таким человеком оказался Никифор Васильевич Блаватский, вскоре после свадьбы ставший эриванским вице-губернатором. Но не разница в возрасте (ему было около 40 лет, а невесте едва исполнилось 17) явились причиной их скорого разрыва — слишком уж разные они были люди, да еще сыграли роль принципы Блаватской. Надворный советник Н. В. Блаватский был хорошим, но заурядным человеком. Елена позднее созналась, что только затем и обвенчалась с ним, чтобы «быть свободной» от контроля родных.

Хотя Блаватская утверждала, что они разошлись по обоюдному согласию, но все биографы пишут, что она убежала от мужа и, оставив Ереван, поехала к деду, вернее, к бабушке, надеясь найти у нее понимание и обрести защиту. Однако бабушка предпочла снять с себя ответственность за судьбу беглой внучки. Она, конечно, приняла ее, но немедленно оповестила письмом отца Елены о случившемся, а тот в ответ распорядился отослать мятежную дочь к нему. В то время отец командовал батареей где-то около Петербурга.

Решено было выполнить волю отца. Дед поручил своему дворецкому, двум женщинам из дворни и одному малому из молодой мужской прислуги проводить ее. Был нанят большой фургон, запряженный четырьмя лошадьми. С этой свитой она должна была добраться до Поти, а из Поти предполагалось далее отправить ее морем в один из черноморских портов, а оттуда уже по российским дорогам — к отцу.

Не найдя ни в ком сочувствия и поддержки, Елена Блаватская вынуждена была избрать единственный для себя путь — бежать за границу.

В Поти стояло несколько пароходов, в их числе английский. Прекрасно зная язык, Елена вступила с капитаном в переговоры. Утром, когда сопровождавшая ее свита проснулась в гостинице — барышни на месте не оказалось. Она, переодевшись в мужской костюм, без денег, без паспорта бе-

жала ночью в трюме парохода за границу. Ближе всего был Константинополь, куда она и добралась несколькими пароходами, используя, дабы замести следы, окольный путь через Таганрог и Керчь.

Так кончилась юность Е. Блаватской в тбилисском доме Фадеевых и Витте, и начались поиски истины, обретения себя, общего языка с окружающим миром.

Свой побег она совершила в 1849 году, проявив необыкновенное мужество и смелость. Лишь через 10 лет, в 1959 году, Е. П. Блаватская вернулась в Тбилиси, в лоно семьи Фадеевых и Витте. За эти десять лет она совершила кругосветное путешествие, многое повидала и пережила, объездила многие страны Востока, Малой Азии, Северной и Южной Америки, искала остатки древних культур у подножия египетских пирамид, наблюдала таинственные обряды в индусских храмах и в Китае, пробиралась, сопровождаемая вооруженным отрядом, в центральные районы Африки, давала концерты фортепьянной музыки в Париже и Лондоне, была капельмейстером у сербского короля Милана..., оставаясь всегда, при всех обстоятельствах преданной своей родине — России.

Свои путешествия Блаватская совершала не из любви к приключениям, а ради поисков истины, изучения тех непонятных явлений, что мучили ее, ради определения тех великих начал, что связывают народы в единую человеческую общность.

Приехала она уже совсем другим человеком. Каждый прожитый и полный странствий год аккумулировал в ней не столько житейский, сколько религиозно-философский опыт. Она оказалась сильнейшим медиумом, позже научилась контролировать свою психику, но тогда, в двадцать семь лет, когда она приехала в Грузию, медиумизм проявлялся помимо ее воли.

В те годы было повальное увлечение спиритизмом в мире. Вместе со своим учителем Юмом Блаватская давала спиритические сеансы по всей Европе. В Тбилиси тетки — Екатерина и Надежда Андреевны, дядя — Ростислав Фадеев, как и остальные представители тбилисского светского общества, очень увлеклись сеансами Блаватской, тем более, что она проявляла необыкновенные психические способности. Так, по желанию кого-либо из присутствующих, она заставляла в соседней комнате, где никого не было, звучать закрытое фортепиано. Или под воздействием ее взгляда никак не могли сдвинуть

с места легкий столик, который до того поднимали без всяких усилий. Она могла вывести из строя электроприборы, не прикасаясь к ним, угадывать содержание писем, не распечатывая конвертов, по ее воле в комнатах, закрытых наглухо, вдруг появлялись огненные шары и т. д. С. Витте, отрицательно относившийся к магическим свойствам личности Блаватской, все же не мог не признать: «В ней, несомненно, был дух, совершенно независимый от ее физического или физиологического существования».

Блаватская на этот раз прожила в Тбилиси четыре года. Ее талантливая, энергичная натура постоянно жаждала новой деятельности, новых интересов и занятий. Довольствоваться бесцветным существованием большинства женщин ей было невыносимо. Неуемная энергия, которой отличались ее бабушка и мать, не давала ей сидеть сложа руки. Она развила бурную деятельность. Чтобы поднять благосостояние некогда богатой, но теперь обедневшей семьи, она решила заняться коммерцией. Открыла в Тбилиси мастерскую по изготовлению искусственных цветов, дела которой шли весьма успешно. Потом расширила свое предприятие и стала заниматься торговлей в широких масштабах, сплавом леса, орехового наплыва за границу, для чего даже переселилась в Самегрело, а затем на берег Черного моря. В эти же годы она увлеклась каким-то дешевым способом добывания чернил и открыла в Одессе фабрику чернил, а затем магазин искусственных цветов. Все у нее получалось, все спорилось в руках.

Но при всей своей энергии и разнообразных талантах, Е. Блаватская была совершенно непрактична. Вскоре ее предприятия — фабрика и магазин потерпели крах, и она продала их. Подобная жизнь не могла долго привлекать ее. И она уехала в Каир, покинув Грузию, а позже, в 1872 году и Россию — навсегда.

В 1865 году Блаватская, после четвертой попытки, попала в Тибет, где пробыла семь лет, приняв обряд посвящения. После этого с ней произошли разительные перемены. Именно после Тибета стала писать она свои уникальные произведения. Она отказалась совершенно от спиритизма, магнетизма, гипнотизма и других психических «действ», считая их весьма опасными для здоровья людей. Она писала в те годы: «Всякое отклонение от нормального пути в сторону преждевременного раскрытия психологических сил ведет к физическим и душевным заболеваниям и может иметь самые тяже-

От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ!



Трудно всем нам живется. Жизнь стала очень дорогой и в самом элементарном смысле — в материальном выражении. Но тем не менее отказаться от духовности мы не можем. И поэтому нам кажется, что «Литературная Грузия» приносит и может принести больше пользы, чем... два стакана фруктового сока. Ведь так оно и есть: журнал до 1990 года стоил 65 коп., в 1991 году — 1 рубль 30 коп., с 1992 года будет стоить 2 рубля, а два стакана сока сейчас стоят 2 рубля 20 копеек, с будущего года, наверное, будут стоить дороже!

Извините за такие сопоставления. Нам, конечно, нет охоты соревноваться с правительством, это оно само вызывает нас на ковер!

У наших авторов нет дефицита таланта, как и у наших читателей, но дефицит и дороговизна бумаги и типографских мощностей иногда сводит на нет наши усилия. Наши авторы со стоической покорностью мирятся с давным-давно замороженными гонорарными ставками, не обижаются и на то, что чистая бумага стоит гораздо дороже, чем их бессонные ночи, да что бумага — почтовые расходы превышают фонд гонорара! Да, все же интересная у нас складывается рыночная экономика: на создание произведений выделяем лишь 20 процентов стоимости журнала, а «Союзпечать» за свои услуги требует 35 процентов, 25 процентов им, видите ли, мало! А бумага, чистая бумага стоит столько же, сколько труд 10 — 15 авторов!

Может быть, мы постепенно переходим к... каменному веку, к первобытной эпиграфике?.. Не удалось построить коммунизм, так давайте «перестроимся» на первобытный коммунизм.

Но не будем вдаваться в политику и экономику, это все же дело профессионалов, а мы лучше поговорим о наших литературных делах. Цены ценами, а бумаги все же не хватает. В связи с этим нам грозит перспектива в последней четверти этого года выпустить сдвоенные номера: 9—10 и 11—12, разумеется, в меньшем объеме, чем по два этих номера вместе. Если это окажется неизбежной реальностью, нам придется изви-

ниться перед читателями, особенно — перед подписчиками. Наши верные друзья, поверьте, это не мы вас ограбили! Ответственные работники издательства нам объясняют, что цены на бумагу увеличились после установления цены на журнал. Да, это правда, и они правы, правы и бумажные комбинаты, все правы, это только мы с вами виноваты, что еще хотим иметь дело с литературой и культурой. Поэтому терпим. И нет предела нашему терпению!..

Но с будущего года у нас будет больше самостоятельности и мы обещаем не обмануть ваших надежд, мы найдем и надежных спонсоров, и твердую материальную базу и, слава Богу, на талантливых авторов у нас дефицита нет! Но нам, как всегда прежде, необходима ваша поддержка — подписывайтесь на наш журнал! Прекрасна грузинская литература, прекрасны ее связи с другими литературами, мы не можем отказать от духовных ценностей, памятуя о том, что от них зависит любая материальная ценность. Ибо только духовно богатый человек может быть создателем, а духовно убогий — разрушителем!



Главный редактор **Роман МИМИНОШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Ананда БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Мари ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромадзе

Сдано в набор 18.06.91 г. Подписано к печати 26.09.91 г. Формат бумаги 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1, Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.000. Заказ 1233. Цена 1 р. 30 к.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло» по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

6163/444



1 руб. 30 к.

ИНДЕКС 76117

ქართველთა უნივერსიტეტის მხატვრული და
 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური კვლევების
 „უნივერსიტეტისა და უნივერსიტეტი“
 (თბილისი, 1991)
 საქართველოს მწერალთა კავშირის ობიექტი
 გამოდის 1991 წლის აგვისტოს

«Литературная Грузия», 1991, № 6, 1—224